



ЕЛЕНА КРЮКОВА

СЕРАФИМ

Елена Крюкова

Серафим

«Издательские решения»

Крюкова Е. Н.

Серафим / Е. Н. Крюкова — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-837136-3

Жизнь молодого священника в далеком селе течет размеренно: отец Серафим служит в храме, помогает старикам, дирижирует хором в детском доме. Но его настигает большая любовь, сбивает с ног — как ветер, вихрь... Это книга о грехе и безгрешии, о любви и ненависти, о прощании и прощении. Бог гораздо ближе к нам, чем принято думать. Простит ли Он грешного Серафима? Быт будней и чудо праздника, музыка церковных обрядов и голоса людей из народа — все говорит о красоте мира, о счастье жить.

ISBN 978-5-44-837136-3

© Крюкова Е. Н.
© Издательские решения

Содержание

СЕРАФИМ	6
Глава первая	7
Купол	7
Уже не Серафим	14
Девочки на клиросе. Настя	16
Рассказ о жизни: Однозубая Валя	19
Прибыла хозяйка. Мать Иулиания	20
Двунадесятый праздник. Рождество Пресвятой Богородицы	22
Глава вторая	24
Под куполом. Простенки барабана. Пророки	24
Сенокос. Юрий Иванович Гагарин	26
Детство. Серафим	32
Рассказ о жизни: Юрий Иванович Гагарин	38
Живность. Мать Иулиания	40
Двунадесятый праздник. Введение во храм Пресвятой Богородицы	43
Глава третья	45
Алтарная стена. Конха	45
Дочь умирает. Анна	47
Смерть, женитьба, измена и опять смерть. Серафим	47
Рассказ о жизни: Николай-Дай-Водки	55
Остров Телячий. Настя	56
Хлеб наш насущный. Мать Иулиания	64
Двунадесятый праздник. Благовещение Пресвятой Богородицы	67
Глава четвертая	69
Алтарная стена. Тайная Вечеря	69
Смерть дочери. Серафим	71
Конец ознакомительного фрагмента.	75

Серафим

Елена Крюкова

© Елена Крюкова, 2017

© Владимир Фуфачев, дизайн обложки, 2017

ISBN 978-5-4483-7136-3

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

СЕРАФИМ

Отцу Симеону (Дурасову), с любовью и благодарностью

СЕЛЬСКИЙ ХРАМ И ИЕРЕИ ЕГО;
РОСПИСИ, ИКОНОСТАС И СВЯТЫЕ ИКОНЫ ХРАМА
КАЗАНСКОЙ БОЖИЕЙ МАТЕРИ, В СЕЛЕ ВАСИЛЬ
НА ВОЛГЕ ПРИ ВПАДЕНИИ В НЕЕ СУРЫ,
БЛИЗ СЕЛЕНИЙ ФОКИНО И ВОРОТЫНЕЦ;
ДОСТОВЕРНАЯ ИСТОРИЯ ЖИТИЯ ИЕРЕЯ ХРАМА СЕГО,
ЗАПИСАННАЯ МНОГОГРЕШНОЙ РАБОЙ БОЖИЕЙ ЕЛЕНОЙ,
А ТАКЖЕ ГОЛОСАМИ ЛЮДЕЙ ЖИВЫХ,
КТО ТОТ ХРАМ И ИЕРЕЯ ТОГО ЗНАЛ
И К СУДЬБЕ ИХ ВОЛЕЮ БОЖИЕЙ БЫЛ ПРИЧАСТЕН.

Глава первая

Купол

Купол выгибался пустою половинкой Пасхальной яичной скорлупы.

Купол выгибался так, будто бы я была уже под землей, будто меня – похоронили, а я глядела на выгиб бока земли из-под земли, изнутри. И любовалась на него: как прекрасна моя земля, мною покинутая, как просвечивают сквозь землю корешки и травы, жуки и червяки, птицы и кошки, деревья и облака, и река, река, вот эта текучая, синяя, золотая, залитая солнцем до краев, великая река, имя ей – Волга, что течет из жизни – в смерть и из смерти – в жизнь. И видела я из-под земли: вот по реке моей, Волге родной, лодка плывет, вот в лодке, во весь рост, человек стоит, рыбак, да, – а может, это не человек, а Господь мой?

Господь мой и Бог мой?

Да разве ж я, смертная ничтожная, песчинка малая, могу Его когда увидеть?!

Купол выгибался так, будто днище просмоленной, крепко сбитой лодки, будто я сама, обеими ногами, пошатываясь от волны, но крепко, по-мужски, по-рыбацки равновесие удерживая, стояла в черной от смолы лодке, и несла меня река, несла, уносила.

Купол выгибался, распахивался, круглился и летел. Улетал. И я улетала вместе с ним.

Я душой понимала: купол – небо, и вот он, Град Небесный.

И вот Он, Царь мой и Господь мой!

Спас Вседержитель, из-под выгиба купола, радостно смотрел на меня.

Его голова, с золотисто-кирпичным нимбом вокруг затылка и висков, с разметанными невидимым, небесным ветром длинными волосами, была огромной, слишком крупной, как выгиб летящей планеты; Его широкие плечи круглились маленькими Лунами; одной громадной, величиною с речную ветлу, рукой Он благословлял, складывал пальцы руки в древнем святом жесте: указательный и средний подняты вверх, безымянный, мизинец и большой сложены в нежную щепоть; а другой...

ГЛАЗА ГРОЗНЫ. В ПЕРВЫЙ МИГ – ГРОЗНЫ. ВО ВТОРОЙ – ЛЮБЯЩИ. В ТРЕТИЙ – ГЛАЗА ВПЛЫВАЮТ В ТЕБЯ, ДВЕ ЗОЛОТЫЕ РЫБЫ, И ПЛЫВУТ В ТЕБЕ, И СТАНОВЯТСЯ ТОБОЮ.

ГРОЗНЫЙ ХРИСТОС ВЗИРАЕТ НА ЗЕМЛЮ.

ЛЮБЯЩИЙ ХРИСТОС ВЗИРАЕТ НА ВОДУ, НА ТЕКУЧУЮ РЕКУ, НА СЕТЬ, ГДЕ БЬЕТСЯ ВЕЛИКИЙ УЛОВ.

ТЫ САМ – ИЗ-ПОД КУПОЛА – ВЗИРАЕШЬ НА СМЕРТЬ СВОЮ И ЖИЗНЬ СВОЮ. И ВЕЛИКАЯ РАДОСТЬ ОБЪЕМЛЕТ ТЕБЯ.

Я ничего не понимала. В другой руке, по канону, как на всех куполах во всех православных храмах, Спас Вседержитель, Царь Мира, должен держать закрытую книгу. Которая, согласно Откровению Иоанна Богослова, любимого ученика, будет раскрыта в день Страшного Суда.

Книги в левой руке Христа не было.

Закинутая моя голова заболела. Шея стала деревянной. Глаза округлились.

Я не верила глазам своим.

Левою рукой Господь наш, Христос Бог, крепко держал рыболовную сеть.

Ну да, сеть, такую и в Василе у нас, и в Бармине, и в Белозерихе, и в Угличе, и в Саратове, и в Жигулях, и в Костроме, и под Астраханью, и в Кимрах, и по всей Волге-матушке рыбаки тянут, ловят рыбу. Запрет есть в иные времена года на ловлю сетью, да разве рыбакам запретишь? И каждый, каждый хочет поймать свою, громадную, золотую, царскую, единственную рыбу.

И ставят сети все равно; ставят коварную, частую, плетеную ячею для уловления живой, бьющейся рыбы нежной, что хочет жить, Господи, да все хотят под Солнцем Твоим, под Луной Твоею – жить.

Господи! Ты ли это! Господи, Ты ведь тут, под куполом святым, – рыбалишь!

«Да, это Я, – весело, громко глаголят Его глаза, и Он меня ими пронизывает, будто б я рыба и уже на остроге, – не зришь, слепая, хилая раба Моя, это Я и есмь».

Шею деревянную не сломать. Закинуть голову еще выше. Ух ты, да Он и впрямь плывет в лодке! Да в большой, в широкой! В черной от смолы! Доски прекрасные, отборные, еловые, просмоленные на славу, лодку и красить не надо – смолою уж покрашена. Левою рукою Господь держит крепкую сеть. Перевожу взгляд ниже. В сети – рыба. Серебряные, верткие крючки, ложки, коромысла живые. Бьются. Вздрагивают. Плавники алые, хвосты болотные трепещут. От серебра чешуи – свет! Бьет в глаза!

Зажмуриваюсь. Господи, как хорошо! Господи, аз зрю Тебя – Живаго, и в лодке по реке родимой плывущаго!

Холщовый хитон отвевает ветер. Ветер отдирает от плеча полоску холстины, и плечо обнажает, и зрю, какое плечо смуглое, гладкое, загорелое, еще не избичеванное, не посеченное, не изуродованное мукой мученической, последней. Живое! И Господь мой – живой! Вон Он, плывет! Дивитесь на Него, людие!

Одною рукой Он играючи тянет сеть из воды. И улова в ней – богато.

Жизнь, жизнь, уловил Ты ее в свои золотые сети, и всех людей на земле, и звезды, серебряными рыбами в черной реке бьющиеся... вспышками молочных хвостов и кисельных плавников...

ТЕМНО-СИНИЙ, ЦВЕТА НОЧНОГО НЕБА, ГИМАТИЙ. ЯРКО-АЛЫЙ ХИТОН. СПАСИТЕЛЬ СТОИТ ВО ВЕСЬ РОСТ.

ЛОДКА ПЛЫВЕТ, И НОС ЕЯ, И КОРМА ЗАГИБАЮТСЯ, ВРОДЕ КОРОМЫСЛА: В ОДНУ СТОРОНУ И В ДРУГУЮ. ЕЩЕ ОДИН ПРОГИБ КУПОЛА – И НОС И КОРМА МОГУТ ВСТРЕТИТЬСЯ.

ЗНАЧИТ, ЛОДКА НЕ ПЛЫВЕТ. ВЕРНЕЕ, ОНА И ПЛЫВЕТ, И НЕ ПЛЫВЕТ.

ОНА – СТОИТ. ОНА ВСТАЛА, КАК ВРЕМЯ. ОНА СТАЛА, КАК ВЕЧНОСТЬ.

И В ЛОДКЕ СПАСИТЕЛЬ СТОИТ: ВО ВЕСЬ РОСТ.

СКЛАДКИ ХИТОНА СПАСА ОТСВЕЧИВАЮТ ОРАНЖЕВЫМ. БУДТО ОГНЕМ СВЕЧИ ПОДОЖЖЕНЫ. ХИОССКОЕ ВИНО, ТЕМНОЕ, АЛОЕ, ТОЖЕ ОСВЕЧИВАЕТ ОРАНЖЕВЫМ. КАК КРОВЬ.

КРОВЬ ХРИСТОВА. ТЕЛО ХРИСТОВО.

ЗРИ – И УЖЕ ПРИЧАЩАЙСЯ.

ПРИЧАСТИЕ – ЛАДОНЬ БОГА ТВОЕГО, ТЕБЯ БЛАГОСЛОВЛЯЮЩАЯ.

ЕДА ТВОЯ – РЫБА СЕРЕБРЯНАЯ, ВО ВЕКИ ВЕКОВ, АМИНЬ.

ЛЮБОВЬ ТВОЯ – ВОН, НА НОСУ, МАЛЬЧИК СТОИТ И ПЛАЧЕТ, ТЕБЯ ЖДЕТ, ЕСЛИ ТЫ ЖЕНЩИНА; ВОН, НА КОРМЕ, ДЕВОЧКА, СИДИТ И УЛЫБАЕТСЯ, ТЕБЯ ЖДЕТ, ЕСЛИ ТЫ МУЖЧИНА.

А РАЗВЕ ЛЮБОВЬ – ЭТО МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА?
ЛЮБОВЬ – ЭТО И ЕСТЬ МІР. ЭТО ТВОЕ ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ. И ТЫ СТОИШЬ
НА БЕРЕГУ ЦАРСТВИЯ НЕБЕСНАГО, ЖДЕШЬ ЛОДКУ.

Когда я вошла во храм, темно было, а теперь глаза привыкли. И под куполом, слабо освещенным лишь бьющими из прорезей в каменных барабанах солнечными лучами, я вижу уже многое, различаю.

В лодке, со Спасом, плывут люди. Ученики? Ну да, это должны быть Апостолы. Рассматриваю. Вглядываюсь. Щурюсь. Ах ты, Господи... что это... кто это...

Ну да, седой, серебряный, бородатый, с лицом исчерна-загорелым, – это рыбак Петр, конечно. Я узнала его. Это Твой друг и ученик первый. Рядом с ним – сеть Тебе помогает тянуть – Андрей. Это тот, что потом пойдет учить наших прадедов, скифов царских, скифов оседлых, имени Твоему и любви Твоей. И распнут его, как Тебя. Да и Петра тоже распнут. Петр наклонился, тоже в сеть сухими стариковскими пальцами вцепился; тянет на себя; Андрей, сутулясь, успевает и сеть тянуть, и, склонившись, с улыбкой почти детской, чистой, вроде как беззубенькой, под ловимую рыбу – ладони подставляя, ощущать плотью своей, плотью жадного, умелого рыбака ее, рыбы, жадную до жизни, скользкую сияющую плотью. Так плотью ощущает плогь. А Дух – входит в Дух?!

Он вам это сказал. Он – нам – это – показал.

Он это с нами – сделал.

А мы... разбрелись... расплылись из порванной сети... нырнули... кто куда... забыли... опять глотнули темной, глубинной, тинной воды...

«Идемте со Мной, и Я сделаю вас ловцами человеков».

Из-под купола, из сердцевины его, из средоточия, там, где на ночном небосводе холодно, чисто сияет Полярная звезда, Ты смотришь на нас, благословляя нас и рыбу нам, для трапезы нашей, лова, и я гляжу на Тебя, в лодке плывущего, на Твоих учеников, и силуюсь разглядеть: кто же там, за спинами Петра и Андрея?

Господи, успеваю подметить, а Петр-то у Тебя раскосый, как... как... как наш, васильский, с Суры солнечной, чуваш. И верно, всяк народ, малюя Писание, наделяет святых Апостолов родными чертами.

Там... там еще четверо. Или пятеро? В полумраке... трудно...

Один стоит, а трое... или, кажется, четверо, сейчас увижу... сидят.

Стоит – мальчик. Мальчик!

Лет десяти. Или двенадцати. Подросток.

Что это с ним?!

Он... плачет.

Да, да, вижу, слезы текут по его лицу... текут, плывут, золотые мальки...

Так миро святое течет по иконам. Вот бы мне когда увидеть чудо сие!

И голос внутри меня говорит строго: «Чудо не в том, что ты увидишь, как миро по иконе течет; чудо в том, что ты молишься Первообразу того, кто на иконе намалеван, и твоя вера – чудо, и твоя молитва – чудо, и твоя жизнь, подаренная тебе, многогрешной, – тоже чудо».

Не плачь, мальчонка! Что ж ты ревешь-то, а... рыдаешь... здесь, на фреске...

Он плачет и держит огромную рыбу в руках. На весу. Еле держит. А лодка покачивается на волнах. Сейчас он не удержится и выронит рыбу в воду. И вместе с ней – с плеском легким, как поцелуй, с брызгами жемчужными – под воду уйдет.

Крупная, как круглые медные деньги, чудовищно огромная чешуя рыбы отсвечивает сусальным золотом; светится гаснущим волжским закатом; скорбной вечерней зарей. Жизнь

гаснет. Дух уходит в печаль. Любовь уходит в прошлое. Никто не вернет нам наших дней золотых. Держи, мальчишка, пока молод ты, жизнь твою, драгоценную, сияющую всей чешуей! Еще не приготовлен тот остро наточенный нож, тесак кухаркин, чтобы брюхо жизни твоей – взрезать. Еще не счистили на чадной гомонящей кухне, скалясь, многозубо гогоча, это золото – серебро – медь – мелкую, разменную монету твою, кою заплатил ты за переправу на лодке этой, на тот берег, на тот...

Ты плачешь оттого, что выловили рыбу? А она живая? И ты хочешь ее отпустить?
– Отпусти! Пускай в Волгу! Пускай! – кричу я на весь пустой храм.

И эхо отвечает мне гулко:

«Ай... анн-н-н-н... ай-и-и... анн-н-н-н...»

«Это Иоанн», – догадываюсь я. Это апостол Иоанн, мальчик, ученик Твой родной, любимейший; Ты любил его, как сына любил бы. Ты сказал Матери Твоей, когда Она у Креста стояла, кивнул головою окровавленной на Иоанна и прошептал искусанными губами – уже не губами человеческими, а звездами, землей, камнями прошептал: «*Жено, се сын Твой. Чадо, се Мать Твоя*».

Чадо, сказал Он, чадо! Чадо – это сынок, ребенок. Дитяtko. Чадо – чаемое, желанное, самое любимое, и в жизни и смерти, существо...

Ча-до... Ча-дить...

Свечи чадят. Нагар выедаёт жадные ноздри. В церкви всегда пахнет так нежно, сладко, горько, хлебно, винно, ладанно, драгоценно, что хочется пасть на колени и заплакать – как он, как мальчишка этот, Иоанн, с тяжелой рыбой в напрягшихся руках.

Лодка плывет. Иоанн стоит с огромной рыбой. Слезы светлыми полосами текут по грязным мальчишьям щекам. Волны расступаются перед носом лодки, сизая, цвета голубиных бедных крыльев, пена чуть шуршит, обласкивает смоленые борта, исчезает за кормой.

Чадо, радуйся, тебя не распнут. Ты доживешь до старости.

Ты узришь Конец Земли и начало Мира Новаго; ты увидишь, как небеса свиваются в свиток.

Когда нос твоей лодки сольется с кормой... когда во рту Рыбы твоей жемчужина Бога твоего воссияет...

Ты повелишь себе устроить гроб крестообразен и в него ляжешь, еще живой.

«И в оном погребешь жив».

Гроб... погresti... гresti... гребец... гребет...

Кто гребет? А, вон он, вон. Исполдобья глядит.

Иуда гребет.

Он еще Тебя не предал. Он еще – апостол Твой и казначей, и рыбак иногда, вместе с Тобой и друзьями. И хохочет громче всех на пирушках, на берегу у костра. Он лучше всех умеет запекать рыбу в золе, на камнях. Она у него, у Иуды, и без соли вкусна. Апостолы едят и хвалят.

Греби, греби, Иуда, темней, темней ликом угрюмым. Будто прокуренным. Будто, как лодка, черным, просмоленным. Солнце летнее не пощадило тебя. Солнце спалило тебя. Солнце насмеялось над тобой. Что толку, что Солнце предупреждало тебя?

Рядом с гребцом Иудой, во тьме, сидят две женщины.

И сердце мое замирает.

Я знаю этих женщин. Я знаю их с малых лет. Одна – старая; другая – молоденькая, совсем девочка.

Старая, сидя в плывущей лодке, поднимает голову, и смотрит прямо на меня, и я вижу Ее глаза и лицо.

Мелкими золотинками начинает вспыхивать, просвечивать медно-темный нимб вокруг Ее головы: будто бы нимб вырезан из жести, а в жести – много мелких дырок, а за жестью – Солнце взошло, или Солнце заходит, и лучи заката брызгают в жестяной щит, а дырки свет тот пропускают. Будто золотыми иголками нимб искололи. Темный. Как траурный плат. Она не хочет быть узнанной. Она все время, всю жизнь Свою, до Успенья, хочет ходить в траурном платке.

Мать, Ты плывешь в лодке вместе с Сыном Своим, что же скорбью, льющей из глаз Твоих, щедро обливаешь Ты меня?!

Она глядит прямо на меня. Я не могу вынести Ее взгляда. Так огромны глаза. Такие коричневые тени под тяжелыми, набрякшими нижними веками. Так обведены глаза черными кругами, что они плывут – две рыбы – отдельно от лица. В лучистой, соленой, вечной воде слез. Материнских, неиссякаемых слез.

– Богородица моя, – шепчу, а шея уже занемела вконец, – это мы, бабы, плачем... а Ты разве – женщина? Ты разве – там, на небесах – в небесной реке – в царской лодке, на чудесном лове рыбы, рядом с Сыном Твоим – разве Ты можешь плакать? Не надо! Не надо...

Она меня слушает и не слышит. Ей не надо меня слышать. Она слышит всех людей в мире. И всех нелюдей. И всех зверей. И всех птиц. И всех червей. И всех рыб, ходящих в глубинах речных и морских. И даже океанское чудовище, поганого зубастого Левиафана слышит Она.

Луч заката падает внезапно на Ее лицо, и вместе с тем на лицо девочки, закутанной в черный платок и рядом с Ней сидящей. И я вижу оба женских лика. Старухи и девочки. У старухи слезы кипят в глазах, а на иссохших губах – легкая улыбка. У девочки все наоборот: ротик крепко, скорбно сжат в подковку, а глаза – горят, пылают, две свечи, рвется пламя по ветру, рвется радость, великая радость из юной души.

Радость! Радуйся! Как это тогда, на их языке, звучало-то?..

А! Хайре!

Откуда ко мне, глупой, это пришло? Откуда я это знаю?

– Хайре, – шепчу я, – хайре...

Старуха и девочка, запахиваясь крепче в темные одежды – прохладно на реке, – плывут в большой лодке мимо меня. И слышу я, как Богородица говорит мне тихо-тихо, шевелением волжского низового ветерка, внутри меня:

«И ты тоже рыба. И тебя поймают. И тебя зажарят. И тебя – съедят. Но радуйся, радуйся, хайре. Сын мой обратил Себя в хлеб, а кровь Свою – в вино, чтобы люди могли внутрь себя Его принимать, Им освящаясь, вкушать Источника Бессмертного. И явилось чудо из чудес! Хлеб стал Его плотью воистину. Вино стало – Его Кровью. И каждый, во храме принимая Святое Причастие, каждый, слышишь ли, обоживается – Ему приобщается – хоть на миг один, хоть на миг...»

– Кто ты, девчонка? – беззвучно спрашиваю я.

И опускаюсь на колени.

Устала стоять с задранной головой.

Но на коленях неудобно глядеть на купол.

Шею сломаю совсем.

И я сажусь на пол храма, просто сажусь, как на песчаном речном берегу, подогнув под себя ноги, вот теперь хорошо, вот теперь можно и передохнуть.

И гляжу в купол, как в звездное небо.

Будто купола нет, его нет и не было, его или разбомбили во время войн и революций, или просто не возвели строители, и никто его не расписывал, никто по нему в люльке с красками

и кистями не ползал, обливаясь соленым потом, его нет и не будет, а надо мною – ночное темное небо, полное шевелящихся жемчужных, сапфировых звезд. И река с лодкой, где Спаситель и апостолы ловят рыбу, по ночному небу течет.

Почему мы звезды не перебираем, как четки, в молитве?

Когда мы в Небесную Реку вступим? Однажды?

– Я? Я Его жена, – так же беззвучно, вижу лишь, как ее губы шевелятся, она мне отвечает.

ПЛЫВУЩУЮ ЛОДКУ, ГОСПОДА ВСЕДЕРЖИТЕЛЯ, АПОСТОЛОВ, БОГОРОДИЦУ И МАРИЮ МАГДАЛИНУ, И ЕЩЕ ОДНОГО, НЕРАЗЛИЧИМОГО, КТО В ЛОДЬЕ ТОЙ НЕВЕСОМО СИДИТ, ОПОЯСЫВАЕТ НАДПИСЬ, СДЕЛАННАЯ КРУПНЫМИ БУКВАМИ, ЯРКОЙ КИНОВАРЬЮ:

**ГОСПОДИ ИЗ НЕБЕСИ НА ЗЕМЛЮ ПРИЗРИ: ОУСЛЫШАТИ ВЪЗДЫХАНЬЯ ОКОВАННЫХЪ
И РАЗРЪШИТИ СЫНЫ ОУМЕРЬШЬВЕННЫХЪ:
ДА ПРОПОВЪДАЕТЪ ИМЯ ГОСПОДНЕ ВЪ СИОНЪ.**

На скате от вершины купола к световому барабану стоят четыре Архангела, а между ними – четыре Серафима.

Все четыре Архангела – они воины, и все четверо держат во правой руке копья боевые.

Архангел Михаил в нарядном, ярко-розовом дивитисии. Дивитисий его расшит крупными речными жемчугами. Короткий боевой плащ темно-зеленого цвета, цвета дикой чащобы, свободно спадает с его плеч.

Архангел Гавриил в далматике нежно-небесного цвета. Полы его одежд вышиты красными рубинами. Или это капли крови? Это он сказал Богородице, что Она зачнет и родит Сына Божиего.

Глядит внезапно, ВНЕЗААПУ, вбок и в сторону Архангел Рафаил: что увидел ты там, воин небесный, какую опасность? Лодка плывет, и бури на реке нет, и северный ветер еще не поднялся, не смял воду, как жалкий бабий платок. Еще не перестреляли братья братьев. Еще не ополчился отец на сына. Еще не отправила дочь старую мать в тюрьму. Еще жив, жив еще твой народ. И лето еще, река не замерзла, и рыба играет в ней, – а ты уже глядишь туда, где хлад и мраз, где виселицы и пожарища, где ко рву стариков ведут на расстрел, где жизнь человека и жизнь предвечного Архангела смешались, как кровь и кровь убитых, лежащих друг на друге вповалку. Ели! Сосны! Солнце! Снега! Кровь на снегу! Рафаил, не гляди туда! Закрой глаза свои! Я вот люблюсь, какой красивый гиматий тебе бабы деревенские пошили, чудо прямо! Хоть сейчас на чувашскую свадьбу! Слепяще-малиновый, ярче зорьки! Яхонтами по обшлагам и подолу густо усажен! Крепко копьё ты сжимаешь военною, юной рукою! Вечно ты юн в небесах. Вечно пьян от любви. Вечные слезы твои – над землянами, нами.

И стоит, глядит строго и сурово архангел Уриил: он один не в дивитисий роскошный облачен, а в короткий, темно-изумрудный хитон с нежно-алой полосой вокруг шеи. У него одного копьё не поднято вверх, а направлено – на того, кто стоит внизу и глядит вверх, на купол. С кем сразишься?

В правой руке каждый сжимает копьё. А в левой – каждый – держит – на ладони – шар.

Шары?! Миры наши они держат!

Михаил – Землю. Гавриил – Луну. Рафаил – Солнце блистающее.

А Уриил... Уриил...

– Уриил, каковую планету небесную ты, Преблаженный, в руке своей держиши, – только и могу вымолвить я косноязычно, по-древнему стараюсь – а не могу, забыт язык, на кото-

ром предки мои молились и Божественные книги читали. Что кричали в битве? Что шептали в любви? За трапезой молча яства вкушали. На похоронах молча плакали.

Молчу в восторге, ибо вижу —

ШЕСТИКРЫЛЫЕ СЕРАФИМЫ БЬЮТ КРЫЛАМИ
АРХАНГЕЛЫ, ВОИНЫ НЕБЕСНЫЕ, ВОЗДЫМАЮТ КОПЬЯ
И МИХАИЛ ГОВОРIT: ХРИСТОС
И ГАВРИИЛ ГОВОРIT: ФЕОС
И РАФАИЛ ГОВОРIT: ДЕСПОТИС
И УРИИЛ ГОВОРIT: СОТИР

И я слышу, как Михаил шепчет мне на ухо: ХРИСТЕ
И выдыхает Гавриил: БОЖЕ
И молится Рафаил: ВЛАДЫКА
И молча, сурово глядит Уриил: СПАСИТЕЛЬ

Ветер рвет, развеивает, относит в сторону полы атласных плащей, развышитых перлами и рубинами далматиков, складки коротких военных хитонов, и маленькой, совсем крохотной вижу я себя перед огромностью, мощью великого Воинства Небесного. Что наши войны перед Небом? Что наши взрывы и выстрелы – перед этими вечными, в кулаках сжатыми небесными копьями?

Пока Архангелы еще стоят под куполом – они нас защищают.
Пока они держат на ладонях наши бедные планеты – держится еще наш мир.

ШЕСТИКРЫЛЫЕ СЕРАФИМЫ БЬЮТ КРЫЛЬЯМИ.
КРЫЛО ЕСТЬ ВОЗДУХ. КРЫЛО ЕСТЬ БЛАГО. КРЫЛО ЕСТЬ ВОСПАРЕНИЕ.
КРЫЛО ЕСТЬ ПРОЩЕНИЕ, ДАЖЕ ЕСЛИ ТЫ КРУГОМ ГРЕШЕН.
ТЕНЬ КРЫЛА ЕСТЬ СВЕТ.
У СЕРАФИМА ШЕСТЬ СВЯТЫХ КРЫЛ. И КАЖДОЕ КРЫЛО ТРЕПЕЩЕТ.
ПЕРВОЕ КРЫЛО ЛЕТИТ: **БОЙСЯ.**
ВТОРОЕ КРЫЛО БЬЕТСЯ: **КАЙСЯ.**
ТРЕТЬЕ КРЫЛО ВЕЕТ: **ОТКРОЙ ОЧИ СВОИ.**
ЧЕТВЕРТОЕ КРЫЛО ПАРИТ: **МУЖАЙСЯ.**
ПЯТОЕ КРЫЛО СОКРЫВАЕТ: **МОЛИСЬ.**
ШЕСТОЕ КРЫЛО БЛАГОСЛОВЛЯЕТ: **ЛЮБИ.**

ОНИ ЛЕТЯТ НАД ТОБОЮ, НАДО МНОЮ. ОНИ ЛЕТЯТ НА ЗАПАД И ВОСТОК,
НА СЕВЕР И ЮГ. ОНИ ВЕЗДЕ, И ПАСХА НЕБЕСНАЯ – ВСЕГДА ДЛЯ НИХ. ЕЛЕЙ ЗВЕЗД-
НЫЙ ЛЬЕТСЯ НА НИХ. ЛАДАН НОЧНОЙ ВОСКУРЯЮТ ОНИ. МИРО ПОДЛУННОЕ
СТРУИТСЯ С КРЫЛЬЕВ ИХ.

МЫ, НИКТО, НЕ ВИДИМ ИХ НИКОГДА.

А ТОТ, КТО ОДНАЖДЫ УВИДИТ СЕРАФИМА ШЕСТИКРЫЛОГО, ТОТ ПРОЗРЕ-
ВАЕТ ДУШОЮ И ОЧИЩАЕТСЯ ТЕЛОМ – И ДЛЯ ЭТОГО СВЕТА, И ДЛЯ БУДУЩЕЙ
ЖИЗНИ.

А ТОТ, КТО ДЕРЗНЕТ ИЗОБРАЗИТЬ ИХ ПОД КУПОЛОМ ХРАМА, ТОГО...

...и я силюсь рассмотреть, кто же там, за спинами женщин, старой и юной, кто же там,
там, далеко, тает, мерцает за из спинами и плечами в медленно плывущей по реке лодке, рас-
творяется в нагромождениях тьмы, в черном и сизом, грозном ветре с запада, в смешении

серебряно-чистых и грязно-песчаных струй, а, это Волга и Сура смешались, переплелись, как пряди в девичьей косе, кто там, кто, я же вижу фигуру, художник же ее намалевал, знаю, хоть размыто, потайно, а просвечивает... вот... рука золотеет... скула серебрится... красно-кирпичный рот, на миг дрогнув – слово хотел изронить, – гаснет во мраке, как нагоревшая свеча... красное и черное, медвежьих черные леса за Волгой, песчаная розовая коса входит, как нос лодки, в вечную ночь... последняя, ярая, золотая, как нож золотой, в крови, как хвост рыбий алый плеснулся в реке, на фарватере самом, прорезалась вспышка заката...

Не увидела. Все. Ночь.

Храм погрузился во тьму.

Я, сидящая на каменном полу, обняв колени, погрузилась во тьму.

Только еще горели, красным кармином, суриком алым пылали прорези в каменных подкупольных барабанах, узкие, щелевидные окна, темнели, наливались засохшей, Крестной кровью; затягивались черным крепом; гасли; умирали.

Уже не Серафим

Я уже не священник, и поэтому я говорю просто.

Я говорю без боязни.

Где ты, мой золотой ребенок? Где твои ручки, ножки, глазки?

В каждом ребенке – Бог; и в каждом человеке – Бог.

Я теперь знаю, что – в каждом. Я раньше не верил. Когда бы священником – не верил. А как перестал им быть – все сразу понял.

Сынок, ты убежал от меня, ты испугался меня. Моего зла испугался. Дьявола во мне – испугался. А я играл с тобой в футбол. Они надо мной все смеялись: батюшка, а в футбол с мальчишками играет! Ишь как по лужайке сигает взад-вперед, и мяч пинает, и хохочет! Не порядок. Разве это священник?

А я смеялся от радости, что я в футбол играю с тобой.

И кувшинки желтые, остро пахнувшие медом и рыбой, я срывал тебе, дитя мое, когда мы на лодке плавали, плыли мимо коряг, мимо широких, как копыта огромной лошади, темно-болотных листьев, сплошь, скользким ковром, закрывающих воду.

Как смешно, чисто ты пел в хоре! В твоём, детдомовском хоре. Я учил вас петь знаменный распев, и демественный распев тоже, и «Херувимскую», и псалмы царя Давида, и «Свете тихий». Дети так ловят все! С лету. У тебя чистый голос и хрустальный слух. Тебе бы на клиросе петь – в соборе, в большом соборе, под сводами...

«Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй на-а-а-ас...»

Мальчик, милый! Крепче зажмурить глаза. И никогда их не открывать.

Нет, открыть. И увидеть жизнь в лицо.

И увидеть, как ты идешь, уходишь по снегу – босиком – нет, в носочках, в вязаных носочках, что она, она тебе связала. Иулианья. Старая мать твоя.

И солнце зимнее ярко, страшно окатывает блестящий, как стеклянная мелкая крошка, снег тяжелой желтой ледяной водой, и снег режет глаза, режет острее самого острого лезвия. До слепоты.

Они меня разжаловали. Лишили сана. Я знал; я понимал, что так будет.

Я не держу зла ни на кого. У Церкви закон, и он суров. Как суров и непреложен любой канон. Канон всякий нарушает, и самый малый иерей, и важный патриарх. Все мы не без греха; грех на всех. Все должны каяться, и каяться крепко. Не один я.

Я так помню это собрание святое в городе, в епархии. Созвали много священников. И старых, и молодых. Монахи из Благовещенского монастыря сидели в зале молча, глядели на меня осуждающе, круглыми византийскими глазами, и бороды их – такие разные, то кудлатые, то сивые-жиденькие, то мохнатые-мощные, и седые, и жгуче-черные, и снегово-белые, и окладистые, колючими лопатами – возмущенно шевелились. Вон, вон он, охальник, безудержник, грешник! Вон – тот, кто брату своему, Авелю, последний глаз выбил! И – ослепил его! И – еще немного, и убил бы его!

Я сидел тихо, не шелохнувшись. Молился ли я тогда про себя? О чем я думал тогда?

Не помню. Каюсь: не помню.

...нет, помню. Закрывал глаза – и луга, перелески зеленые, ржавые, морозно-серебряные неслись передо мной, мелькали, как летящие, из детской сказки, ковры; речка Хмелевка петляла в зарослях, в кустах; пели, заливались безумием радости птицы; небо распахивалось, расходились сияющие облака, как створки врат, – и я по лугам, по полям этим осенним, ржавым бежал, увязая в черноземе в высоких, по колено, сапогах, – а куда бежал я?

Раскинув руки, бежал навстречу Настеньке моей, Насте, На...

«Ты более не священник, – услышал я над собой тяжелый, как гиря, голос владыки, – недостойн быть им».

И что-то еще говорил тяжелый голос про грехи, про покаяние, про трудное возвращение к мирской жизни, про далекое прощение Божие.

«Как случайно он в Церковь залетел, так случайно из Нее и вылетел!» – пискнул противный, тощий голосишко сбоку, будто сверху, из-под потолка.

Я не оглянулся.

«Вылетел – не случайно», – поправил толстый, грубый голос – тот, первый, тоненький.

Я не смотрел на тех, кто говорил.

Я смотрел прямо перед собой.

А прямо передо мной тускло светился в лучах заката, бьющих в пыльные высокие окна, пыльный пол актового зала, где меня лишали моего священства, маячили пыльные кресла, виднелся край дощатой грязной сцены, и все было буднично, скучно, страшно, темно и пыльно. И бесповоротно все.

И я сказал себе: все, отец Серафим, отпрыгался, уже больше ты не отец и не Серафим ты никакой. Что дальше в жизни будет с тобой?

И я поднял лицо. И поднял глаза.

И увидел наверху не купол деревенской, бедной церковки моей, где я много, много долгих лет все свои службы нищие служил; а светлое женское лицо увидел я, и красавица моя глядела мне в глаза, и я ей в душу глядел.

И поднял руку. И перекрестился широко на сияющий потолок. На чистое, бездонное небо мое, жизнь мою.

И шепоток рядом услышал: «Крестись, крестись вот теперь! Не накрестишься...»

И я обернулся к шепчущему и громко, на весь пыльный актовый зал, сказал ему:

– Да что ж вы злые-то все какие, а? Злые, несытые? Что вы так любите пить кровь людскую?

– Ты! – по-бабьи визгнул тот, кто шептал, над ухом моим. – Это ты говоришь! Это ты – кровь-то пил! Да, пил горстями! Из детей – пил! Из сельчан своих – пил! Блудом занимался

на глазах у крестьян, ты, пастырь! И наконец – кровь пролил! Ты, радуйся, диавол бесстыжий, что мы тебя лишь сана лишаем! А могли – в тюрьму упечь!

Что дальше возмущенно, вперемешку с лютым гулом пыльного, душного воздуха и грубым грохотом кресел, кричали вокруг – я не слушал, не слышал.

Девочки на клиросе. Настя

Он в нашу деревню приехал три года назад.

Я еще девчонка тогда была совсем.

У нас церковь когда-то, давно, была на кладбище деревянная – в советские годы ее сожгли. По приказу председательши сельсовета, Анны Цыгановой. Я не видала, как жгли, я совсем пацанка тогда была. Мне тятя рассказывал. Потом мы с ребятней бегали на кладбище, играли в прятки на пепелище. Между горелых досок находили – то цветное стеклышко, то лампадку целенькую, то кусок почерневшей иконы. Однажды нашли деревянную дугу, вроде как лошадиную... и по ней надпись, еле разобрали: «НА ЗЪМЛИ МИРЪ, В ЧЕЛОВЕЦЕХЪ БЛАГОВОЛЕНИЕ».

Дугу ту потом пацанва на берег Волги оттащила – и на костре сожгла. Рыбу ловили, ночь холодная была, ну, и сожгли... погреться...

И еще одна церковь была – каменная, белого кирпича, стояла она у самой воды, у Волги, в устье речки Хмелевки. Кирпич облупился, внутри церкви хулиганы гадили, кресту голову набок свернули, как гусю... Срам, запустение.

И все равно наши старушки ходили сюда молиться. Да так: не молиться, а просто – Богу поклониться, над рекой, над водой. Зайдут внутрь – а там – вонь... Выйдут, плачут. На реку, на закат крестятся. Когда, плачут, когда, Господи, ты нам нашу жизнь-то вернешь?!..

Вернул. Все-таки – вернул...

Изменилось время, как меняется в зеркале баба. Время вставило выбитые зубы. Время выкрасило седые волосы. Время громко крикнуло: вернемся к Богу! – и все стали возвращаться к Богу, помнить о том, что Он есть, заново учиться креститься, вспоминать, как наших святых по именам зовут. А потом нам еще громче крикнули: а Бог-то – Он денежек стоит! Надо отремонтировать убитые церкви; а на что? На деньги ведь, да; а где их взять? Государство когда-то все церкви взрывало, убивало, убило... а теперь бросило клич: собирай монету, народ, тащи, муравей, кирпичи, краску! Это было все очень весело. Мы, дети, школьники, бегали глядеть, как рабочие кирпич кладут, как балки устанавливают под сводами. Как на купол лезут – и гнутый крест выправляют.

Это все означало – у сельсовета денежки на ремонт нашлись.

А повысить зарплату на пристани, или официанткам в доме отдыха, или библиотекарьше Ирине Елагиной, что спасала себя, мужа, сестру, бабу да двух детей лишь двумя старыми коровами, Машкой и Глашкой, – нет, не нашлись.

Ну, ладно, думали мы, шут с ней, с зарплатой, зато у нас в селе церковь наконец будет! Старая? Вот и хрен-то! Новая!

Как новенькая...

Наши мальчишки помогали храм красить. И купол серебрить помогали! Стал он славный, дивный, купол, в крупной серебряной чешуе, как хвост крупного язя. Рыба в небе плывет! В солнечный день – глазам больно!

Ну и вот... Росписей в церкви не было еще никаких. Это ж надо было художников нанять, а на художников денег уж не было. Икон тоже почти не было: бабушки принесли Спаса да Богородицу на полотенцах, на гвоздях повесили, вот и все. Известью стены аккуратно побелены. Вместо Царских Врат – лестница малярная висится, как шея у гуся. Зато у Спаса Неру-

котворного – всегда живые цветы, полевые, в ведре с водой! И зимой даже торчат: бессмертников бабы нарвут, бархоток, и в декабре стоят, и до Рождества даже достоятся...

И хлебы у Спаса лежат, а у Богородицы – кулечки с конфетками, печенье, ну, яйца в Пасху приносят, понятно...

А яйца-то да пасху – святить некому.

Ну как же: храм есть, а батюшки нет!

Стали сельчане епархию слезно просить: пришлите, пришлите нам батюшку!

Пока батюшки не было – служил наш, васильский мужик, Володя Паршин. Он вообще-то учитель, физику преподает в нашей школе. Красивый, хоть и старый. Девчонки все были влюблены в него. Про физику не думали. Думали: а вдруг после уроков – за старым домом, где Горький Алексей Максимыч жил когда-то, дачу снимал, – возьмет, обнимет да поцелует? Глазки строили Володе...

Володя на девчонок – плевать хотел... Он же верующий. И у него жена такая пышная, толстогрудая. И сыночек взрослый уже, в городе живет.

Ну да, я про церковь... Про батюшку...

Мне тяжело. Трудно мне про него. Простите. Сейчас. Помолчу.

На первую службу, она называется Литургия, все село пригласили. Оповестили объявлением – вывесили у сельмага, на доске: «СЕГОДНЯ, 21 ИЮЛЯ, СОСТОИТСЯ БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ В ХРАМЕ КАЗАНСКОЙ БОЖЬЕЙ МАТЕРИ В ХМЕЛЕВКЕ. СЛУЖИТ ОТЕЦ СЕРАФИМ».

И внизу, в углу листа, было приписано карандашом: «НОВЫЙ СВЯЩЕННИК».

Народу в церкви собралось – не протолкнуться. На клиросе стояли четыре наших девчонки, десятиклассницы: Кира, Раисы Захаровой дочка, Липа Зудина, Дорочка Преловская и Галя Ермакова. Они пели тоненькими голосами.

Народ колыхался, топтался, перешептывался.

Новый священник стоял посреди церкви, высокий, как высокое дерево. Одевание на нем топорщилось, торчало колоколом. Я забыла, как называется: то ли ряса, то ли риза. Свечки горели, и ткань, из которой пошита была у него эта его... риза, отсвечивала в огнях то розовым, то золотым, то ярко-алым, будто ягодный сок по ней тек. Парча?..

– Парча, – шепнула я еле слышно.

Подружка моя, Светка Бардина, меня локтем в бок пхнула.

– Ты че это? – зашипела, как змея. – Ты че бормочешь? Какая моча? Служба же идет!

– А ты че? – прошипела я в ответ и немного ударила Бардину кулаком по твердому заду.

– Девчонки, ну вы че?! – заворчали сзади нас.

А девочки на клиросе пели, все пели чудесную музыку! Я никогда такой не слыхала.

И новый священник тоже пел. То говорил распевно, растяжно, то пел.

И я ему в глаза посмотрела вдруг. Я слишком рядом с ним стояла. Близко так к нему.

Я даже почувствовала, какой от него хороший запах раздается. Духовитый такой. Смолкой сосновой пахнет. И немного медом.

Ряса эта, или риза, блестит... как розовая кровь... золотом светится...

И глаза его тоже – светятся.

И только на меня глядят.

В меня. Вглубь.

А рот широко разинул, и из-под усов, из бороды золотой как раскатится на весь храм:

– Слава в вышних Богу, и на земле мир, и в человецех благоволение-е-е-е-е!

Я чуть не подпрыгнула от радости. Все вернулось! То, что сожгли!

Он все глядел мне в душу.

В душонку мою, кощенку, котенка...

«Не утопи. Не погуби», – говорила я ему глазами.

Это я сейчас понимаю, что я тогда так ему глазами кричала.

«Не погублю. Сберегу», – кричали мне в ответ его золотые, ясные, широко на широком лице стоящие глаза.

Он один гудел низко, басовито, как целый хор. Дорочка и Галка, Кирка и Липка, курочки-цыплята, подтягивали; ошибались, не те ноты брали, смущенно закрывали лапками, как котята, личики в белых кружевных платочках. Старухи наши крестились то и дело, плакали от радости. Володя Паршин был за дьякона. Помогал новому батюшке; что-то ему подтаскивал, что-то уносил. Иногда раскрывал толстую старую книгу, опускал со лба на нос тяжелые очки и пел-читал из этой книги. А священник в это время не отдыхал, нет. Он ходил из стороны в сторону по беленой известью церкви, сам крестился широко, упоенно, – а потом подошел к деревянным створкам и распахнул их обеими руками, и внутрь вошел. И ворота за собой закрыл.

И когда он вот так скрылся из глаз, все внутри меня будто свечкой подождлось и запылало.

Я подумала тогда: вот, вдруг он когда-то уйдет навсегда... И вот так ворота за собой закроем.

Но нет! Вот вышел!

Риза золотой горой вспыхнула!

И я громко, на весь полный народу храм, засмеялась от радости.

И Светка Бардина дернула меня за косу, выползающую из-под платка по спине, и зашипела опять:

– Ну, дура ты?!

И еще девочки пели, и Володя и батюшка пели и читали. У меня уж ноги заболели стоять. Сесть захотелось. «Может, на пол сяду?» – подумала я. Но стыдно было: вон старушки терпеливо стоят, а я что, не могу? Я переваливалась с ноги на ногу, как медведь. Светка Бардина не сводила глаз с нового батюшки.

– Какой красивый...

Я услышала ее шепот.

Но больше бить ее кулаком по деревянной жопе не стала.

А потом Володя Паршин вынес откуда-то, не знаю, откуда, как фокусник достал, большой золотой кубок, как спортивный, нам такие кубки в награду вручали, за победу в соревнованиях. Из кубка торчала ложка, я видела ее витую позолоченную ручку. Старухи, молодухи, мужики, пацаны, наши власти, наша беднота – все смиренно выстроились в ряд и стали подходить к батюшке и к Володе Паршину. Володя держал золотой кубок в руках осторожно, как ребенка, как драгоценную шкатулку. В его глазах блестели слезы, и иногда скатывались, не удержанные веками, по щекам, по носу, по подбородку. Я впервые в жизни видела, как мужик плачет от радости.

– Тело Христово примите, источника бессмертного вкусите... – тоненько, совсем высоко, поднебесно, как птички, пели девочки.

Люди все сложили крест-накрест руки на груди. Я тоже сложила. Дорожка людская тянулась. Я видела – первые, кто подходил к батюшке, раскрывали рты, и он вкладывал им в рот ложку, полную чем-то темно-красным, и что-то ласково, как отец, приговаривал. И они наклонялись и целовали край золотого кубка и батюшкину руку. А Володя Паршин вежливо утирал им рты красной тряпичкой, перекинутой у него через руку.

Вот и я подошла.

Вот и я совсем рядом.

Я сделала шаг к батюшке и зажмурила глаза.

– Открой глаза, дочка, – услышала я тихое, – не бойся...
Я открыла глаза. В мои губы вплыла ложка, и сладкое, винное облило, обожгло мне язык и глотку.
Он совал ложку мне в рот, а сам глядел на меня, опять глядел в душу мне!
И я не могла отойти.
Щеки горячим залились.
Я видела – и не видела. Я ослепла тогда.
А он опустил ложку снова в кубок – и улыбался, улыбался мне светло.
А потом перестал улыбаться.
Губы его задрожали.
– Доченька... – очень тихо сказал.
Я услышала.
Никто больше не услышал.
И я встала на цыпочки. Какая муха меня укусила?! Что я делала-то, не сознавала...
Потянулась вверх. К нему!
Вроде как поцеловать – за сладость...
Нет, может быть, обнять... за шею... крепко...
И его лицо все залила алая алость, красная краска. Будто сто свеч вспыхнуло изнутри, под щеками его, под бородой.
Я глядела, как длинные волосы его струятся на золотые парчовые плечи.
Я себя увидела будто со стороны: как зарываюсь в эти волосы носом, губами...
И тут меня сзади ударила между лопаток Светка Бардина. Ребром ладони стукнула, больно.
– Ты че, ну, дура совсем?!.. Давай, двигай...
Дорочка Преловская на клиросе пела, заливалась соловушкой, закатывала вверх глазенки, и белки смешно блестели, как ядра спелой лещины.

Рассказ о жизни: Однозубая Валя

Мне шестьдесят недавно исполнилось. Такой старой себя чувствую.
Да ведь и натерпелась выше крыши. Иной раз Господу взмолюсь: возьми Ты меня к себе! Что я тут сколыдорю! Не берет. Видать, не время еще.
Я в Василе родилась, и всю жизнь тут живу. Кем только не работала. Мамка моя работала в колхозе, мы тогда жили впроголодь, ей трудодни ставили, палочки какие-то, и все обещали: мы тебе за эти палочки – денежки дадим! Все ждала-ждала, а не давали. Так и померла: я считаю, от голодухи да с натуги.
Я осталась одна, эх, и густо хлебнуть горюшка пришлось! Разнорабочей моталась. Даже каменщицей, на строительстве дач богатых; даже шифер клала с Колькой Кусковым. Везде нос совала, на все подряжалась. Голод не тетка, поясом брюхо перехватишь да прыг-прыг! И мусор заставляли собирать, по Василю тачку пустую катала и в нее мусор собирала, это председательша велела, Анка Цыганова, партийная тварь. Копейку мне платила. Я на эту копейку жила. Все надо мной смеялись: вон, вон она, мусорница наша, тележку везет, а тележка гремит! Я с тех пор так и с мусором. Около грязи так и живу. Сейчас вон три объекта чищу-мою: магазин, клуб и сельсовет. На жратву мне да сынку хватает. Сынок у меня от законного мужа рожденный, я замуж честь по чести выходила, ну Кольку и родила по-быстрому. А муж потом возьми да умри. Я пить приучилась. Подружек у меня особых не было, все только соседки. Да то одна идет, бутылку тащит, то другая бежит, бутылка под мышкой. Ну, бухнем-кирнем! Но я себя блюла. Спиться – это живо дело делается. Я себе не позволила.

Сынка растила. Полы мыла. Мыла-мыла, мыла-мыла... До сего дня вот домылась. Нет, честно, хватает нам на пропитанье. А тоска иной раз в горсть заберет. С тоски и мужичков иногда привечала... в дверь постучат, ну, я и открою... Эх-х-х-х!.. как оглянешься... Да нет, чего там, не буду говорить. Это ж мое личное дело. Вам про это знать не надо.

А мне – уж забыть надо. Я-то уж старуха. А что, да, старуха! Шестьдесят...

Когда девчонкой была – думала, не доживу до таких-то годов.

А Коленька мой так и не женился. А ему уж тридцать пять. Видно, внуков не дождусь. Спрашиваю его: Коль, ты что не женишься? А он: мать, никто не берет. Я ему: да ты сам возьми! А он: не, мать, теперь девки сами выбирают. А кто я? Нищая деревенщина? Безработный? Спасибо, ты меня кормишь... И уж мокрые глаза, и моргает.

А тут вот ногу зашиб, с велосипеда упал, велосипед уж старая колымага, в овраг выкинуть бы надо, а он все ездит, – лежит пластом и просит жалобно: помыться бы, мать, а в сельскую баню – не дойду... Я его к соседям повела. Идет, тазик к боку прижал, хромает... И вдруг меня как прострелило: да что ж это, молодой здоровый мужик, а беспомощный, как подранок, да, нищий, да, бедный... Вроде как смерть за плечом. За молодым! Плечом... И – толстая беззубая баба, это я, значит, – поломойка, помело. Если б зубы были – зубами б поскрипела! Семейка...

В тот вечер мы с ним выпили, и за второй соседского Кирилла, внука Гали Харитоновой, послали. Помидорки у меня всегда соленые есть. Напились, насолились, наплакались, напелись... Жизнь... Жи-и-и-изнь...

Не надо Бога гневить: живи свою жизнь, человеке, какая у тебя есть, другой не будет.

Прибыла хозяйка. Мать Иулиания

Вона... вона идет, наказаньице мое. Миня к няму приставили... энто послушанье у миня такое. В монастыре приказала игуменья... и што? Разве ж против матушки игуменьи кто когда выступал? Да никто и никогда. Послушанье есть послушанье. Яво надоть отработать.

Ну вот я и отрабатываю. Роблю прям без роздыху... а толку што?

Бешенай энто отец. Безумнай.

Ч-ч-ч-черт ли мне в нем... а-а-ах, Господи, прости, грешница велика, прости, прости и помилуй, и спаси, и сохрани-и-и-и...

Матушка Михаила так и велела: езжай, грит, в энто сельцо, в Василь, там церкву открыли наново, и туды из города батюшку выписали, отец Серафим яво звать, дык вот, ты к тому отцу Серафиму мною, матерью Михайлой, приставляешься – служить яму, прислуживать, при нем хозяйкой быть, экономкой там, кухаркой, кашеварить яму, грит, да по лучшему разряду, мышей да крыс на обед не варить, да и хохочет, рыгочет, мать моя, ха-а-а-а-а!.. прости, Господи, нас всех, грешных...

Я сначала противилася. Умоляла: мать игуменья, ты миня в монастыре лучше оставь!.. штобы я тут лучше послушанье како робила... за капустой могу ухаживать, плакала, за кочнами, ночью вставать в час ночи на молитвы могу... Стирать могу на всех насельниц, кричала!.. Только не надоть миня к мужику чужому посылать, да в чужо село, в дярвеню-то чужу... я тама никого не знаю... Погибели моя хочешь, мать Михаила, да-а-а-а?!..

А игуменья – смеецца. Рот шире варежки раззявит – и колыхацца вся. И крест на животе у ней лежит, не падат, ибо брюхо тако, тако-о-о-о отрастила, матушка!... у-у-у-у...

Спровалили все ж таки. Билет на ахтобус сама игуменья купила. Я-то што знала?.. да ништо. Я ж из дярвени глухой, из Заволжья. Одних комаров по лету и знала... а по зиме – дрова в печь таскать... К работе я привычна. Што сенокос, што дрова колоть, што кашу сварить, што скотине корма задать – все умею, со всем управляюся. Ишь, попу буду робить, прислуживать!

А чаво ж он не женился-ти, поп? Што не с попадзей сюды прикатил?! То-то и оно... Значитца, карактер таковскай. Неуживчивай. Можа, за няво никто замуж нейдет!

Нашли козлиху монастырску... миня...

Но я матушке Михаиле не могла вить отказать? Не могла.

В ахтобусе тряслася – узелок к грудям прижимала – ехала и все думала, думку гоняла: как там буду, в чужбине-та, там все чужо, не дяревня родна, не монастырь родный. Как-то встретит миня поп мой?

А ласково встретил! Не ругательно! Не строго!

Ну, думаю, мякко стелет, черт, жестко спатеньки будет...

Госс-с-споди, да прости ж Ты мне, охальнице...

«Здравствуй, раба Божия, как звать-то тебя?» – поклонился с порога. Ручонкой показал: проходи, мол, ты тут хозяйкой будешь.

Я – шлеп-шлеп – по половицам – по одной половичке – смущаюся... дрожу вся дрожмя, прошла в избу...

Я в избу зашла, а он мне руку тяжелу, горячу на спину поклат. Будто – печать поставил... сургучну, как на почте, на куверт.

«Што молчишь? Имечко-то назови...»

Я прям с минуту не могла балакать. Так ожог тот на спине – все и чуяла.

Наконец губешки разлепила, выдавливаю: Иулиания я, батюшка дорогой, сестра Иулиания. Вам сказали, што из Макарьевского монастыря к вам монашенька в помощь прибудет?... так энто вот я и есть.

А он мне так, да с улыбочкой: сказали, а как жа!.. все-все передали, в сельсовете и передали, самолично мэрша вызвала и оповестила, ей из монастыря звонили. Я вас ждал, промежду прочим, грит, да так опять ласково смотрит, прям улещат!.. бе-е-е-ес...

Ах ты, ах ты, прости миня, Боже ж мо-о-о-о-ой...

Мордой к няму стою, а ожог руки яво на спине – все чую.

А он ручонками развел так в стороны, сердешно так, пригласительно, и грит: располагайтесь, как вам удобно! Любу комнату – занимайте! Миня, грит, не стесняйтесь, да и вы миня никогда не стесните! Я, грит, такой сам по себе неприхотливый, дикой зверь! И зубы в смехе кажет мне, бе-е-е-елы... и правда што, как у зверя...

Узелок у миня из рук принял. В уголочек поставил. Нежненько так.

Я по комнатам потряхала, глядеть, выбирать. Он – за мной. Как зверюга. След во след. У миня затылок аж горячий стал.

«Вот энту, – грю, – энту выбираю. Здеся светло, окна в сад выходят...»

А лето, лето тако стояло! Просто праздник, а не лето!

Красотища! Вишнями листва усыпана! Сливы зреют! Ветки от плодов гнуцца! Все, все растет, чему не лень!

«По плодам их узнаете их», – вспомнила я вдруг тогда Писание.

Ндравится, грит? Ну и забирайте, грит! И глазенки смеюцца, и рот смеецца, и борода смеецца и трясецца, и все в нем смеецца. Мне показалось – подошвы яво даже смеюцца!

И я тоже рассмеялася. Ну не могла не засмеяцца! Так хохотал, зараза...

Стоим посередь комнаты и ржем, как два коня. Как конь и лошадь.

Конь... и лошадь...

«Ну што, – грит, – осытительну молитву тебе, матушка Иулианья, прочесть?»

Я не матушка, лепечу, я сестра...

«Кака ж ты сестра! Ты у миня в доме уж живешь, и хозяйкою, только што не венчаны мы с тобой, а как приживалка, значитца, ты уже матушка», – и миня за руку берет. И рука руку жжет. И стыдно мне! И больно, жалко как-то всяво прошедшего, минувшего... Девчонку себя

вижу... И нынешню – в морщинах, стару клячу, в платке тугом, белом, на затылке в крепкой узел увязанном... И вижу: напротив миня чужой мужик стоит, поп городской, длинны волосья по плечам барахтающа, бородка кольцами вьещца, – красавчик! Холенай! Барсук... А я кто?! Я кто перед им?! Кашеварка?!

Выдернула руку. Захотела – скорей – прочь.

Деньги у миня были, на ахтобус билет бы купила...

И повернулась, штобы – вон идтить.

А он, ловкач такой, зверь, миня за руку цоп – и удержал. Удержал! И крепко, сволочь, держал! Вцепился, как утопленник в доску!

«Нет, – грит, – не пойдешь! Никуды не пойдешь. Я теперича твой хозяин!»

«А я не рабыня ваша!» – воплю.

И он, дрянь така, держа мою руку крепко, башку кудлату склонил низко и тихо так бормочет мине: ты раба Божия, мать Иулиания, раба ты Божья, поняла, и што тебе назначил Бог делать в жизни, то ты, мать, и будешь творить, ну, поняла? Поняла? Поняла?

Рука в руке стояли. Навроде как супруги.

О-о-о-о-ох...

И лицо мое мокро все, и текут, текут по нему реки-ручьи, солены реки текут, все не останавливацца.

Двунадесятый праздник. Рождество Пресвятой Богородицы

Круговорот времен происходил неуклонно, и наступила осень, золотая осень в Василе; и широкие синие ладони Волги принимали золотые яблоки прибрежных лесов, и серебристые, серые рабочие руки Суры катали красные шары лещины, рыжие метелки робких осин, драгоценные кабошоны желудей на Шишкином мысе, превратившемся в мощный золотой костер. Дубовая роща вся вспыхнула пожарищем. Ветер гнал по дорогам и разворачивал напогляд золотые веера кленовых листьев. Все умирало так торжественно, так роскошно!

Осенью, осенью родилась Матушка Богородица моя.

Осенью пел я Ей осанну Ея.

– Сей день Господень, радуйтесь людие: се бо света чертог и книга слова животнаго из утробы произыде, и яже к востоком дверь рождшися, ожидает входа Святителя Великаго, Едина и Единаго вводящи Христа во вселенную, во спасение душ наших!

Я радостно зажег сегодня свечи во храме. Кончатся свечи. Надо бы еще в епархии заказать. Ванька Пестов поедет на машине в Нижний, пусть привезет.

– Да радуется Давид бия в гусли, и да благословит Бога: се бо Дева происходит от утробы неплодныя, ко спасению душ наших...

Я пел-говорил это, губы лепили, как из глины, эти слова – и представлял себе Царя Давида, щиплющего сильными, крючковатыми пальцами натянутые на доску воловьи жилы; и музыка рокотала, и гремел сильный, красивый голос, и вторил я голосу старого царя, и раздвигались и снова напоззали тучи, и рождалась на свет, спустя тысячи лет, Девочка, Девочка, милая Девочка...

– Всемирная радость от праведных возсия нам, от Иоакима и Анны всепетая Дева... Тоя молитвами Христе Боже, мир миру низпосли, и душам нашим велию милость...

Я пел и думал: непорочное зачатие, это, конечно, чудо! Но ведь и обычное зачатие – тоже чудо...

Все есть чудо Господне, думал я, и наша жизнь – чудо, и наша смерть – чудо. Ведь она, жизнь и смерть наша, никогда не повторится. Чудо все, что неповторимо.

– Рождество Твое Богородице Дево, радость возвести всей вселенной: из Тебе бо возсия солнце правды Христос Бог наш, и разрушив клятву, даде благословение, и упразднив смерть, дарова нам живот вечный...

«Упразднив смерть, вот оно как, – думал я. Цепь кадила в кулаке холодила мне руку. – Смерть упразднив, да! Но ведь Анночки нет! И бабушки нет! И отца нет! И – тысячи тысяч, тьмы тем людей давно нет на земле! Все, что стоят передо мной в церкви, расписанной мною, – все умрут... все превратятся в черепа, скелеты... Нет, песнопевцы, святые отцы говорили не про телеса, про Дух! Дух, Дух не умрет никогда! А тело – что тело? Оно, по Писанию, восстанет на Страшном Суде. Кости плотью облечутся. А как это будет, мы не знаем... Мы – только верим... Кости... Мертвые, сухие кости...»

Эту Святую Девочку родили однажды, чтобы она не умерла.

Золотые листья, листья золотые, осень золотая, Царица моя!

Девочка, Девочка родная, чистая, прости... прости мне все мои прегрешенья... прости и благослови людей своих, Царица...

Перед Литургией я сам влез на колокольню, кирпичную, красно-пеструю, красный кирпич тут перемежался с белым камнем, еще Ивана Грозного времен, и звонил в единственный тяжелый колокол – долго, сильно, с трудом раскачивая его.

Леса за Волгой клубились рыжими взлизами огня.

Леса тоже зажгли все свечи, Девочка моя, во славу Твою.

Глава вторая

Под куполом. Простенки барабана. Пророки

Давид-Царь. Еще не Царь – пастух. Вспышки по кубово-синему хитону идут и плывут. Сжимает в руках арфу. Закрыв глаза и поет. Он поет о несбыточном. Он поет господину своему, царю Саулу, о вечной любви.

Он еще не Царь, Давид. Он еще пастушонок, парнишка. Кудри прыгают по плечам, когда он обеими руками вскидывает гриф арфы.

Рокочут струны. Юноша играет на арфе.

Юноша смотрит на того, кто напротив.

Царь Соломон. В короне тяжелой. Зубы короны – золотые гнилые, старые зубы.

И сам Царь стар. Стар, как старая дуба кора. Весь ветрами источен.

На его коленях, на богатом, атласном плаще – лежит маленькая, чахлая, сирая, вобла сухая.

Высушенная на жарком пустынном Солнце соленая рыба.

Соломон, соль, соленое рыбье мясо! Солнце! Воблу очисти, вынь из нее сухой, вяленый пузырь, зажги лучину и пузырь на огне сожги!

Это очень вкусно. Так рыбаки на Волге воблу едят. И ты попробуй.

Ты мудрец, ты многое знаешь. Но есть то, чего ты не знаешь.

Старая, сохлая, прозрачная, жесткая вобла. Дамасская жесткая сталь. Жесткая, жестокая смерть. Ты разве не знал, царь Соломон, что ты возродишься?

Вот, я тебя на церковной стене написал; мир тебе.

Пальцы твои уже шелушат мою воблу.

Уже валится наземь, к босым большим ногам твоим, старая ветхая чешуя.

Иеремия! Пророк! Плачь.

Никто сейчас не помнит твое имя, Иеремия.

Нет у тебя уже имени.

Ты просто – Тот, Кто Плачет Над Гибелью.

Иерусалим твой погиб, и ты плачешь.

Вавилон твой погиб, и ты плачешь.

Мессина твоя погибла, и ты плачешь.

Лондон твой погиб, и ты плачешь.

Тегеран твой погиб, и ты плачешь.

Пекин твой погиб, и ты плачешь.

Варшава твоя погибла, и ты плачешь.

Москва твоя погибла, и ты плачешь.

Мир твой погиб, и ты плачешь!

Плачешь, горько плачешь ты, Безымянный!

Пророк! Плачь!

Раздирай волосы пятерню! Вались животом в пыль, в жгучий пепел!

В прозрачную тень превращайся! В отпечаток на камне!

Может, тебя – через смерть и молчанье – высокие звезды услышат.

Ты страшен, Иезекииль. Ты страшен. Я боюсь тебя.

Ты обнимаешь бородой летящей страны, пустыни, города.
Ты дикий зверь. Ты видел Бога и не убоился его.
Ты держишь за рога быка, величиной с Луну.
Ты катишь под ногой звезду, величиною с голову твою.
Как ты кричишь, я слышу: «Вижу! Вижу Бога моего!
Бог мой грозен и велик! Бог мой – страшен и непобедим!»
Я встаю перед тобой на колени и шепчу: нет, Бог не страшен мой.
Он никогда не был страшен.
Разве Любовь страшна?
Разве Прощение страшно?
Бык – это не Бог. Волк – это не Бог.
Не Бог – огненный Шар с жаркими огнями по ободу, похожими на глаза горящие.
Ты видел Силу Божию, но не Бога.
Вон, задери голову! Под купол небесный глянь!
Бог твой плывет в лодье и ловит рыбу.
И смеется. И шутит с рыбаками. И держит сеть рукою.
Не плачь, старик, что ты плачешь? Позади страх твой. Позади Смерть твоя.
Где Ея жало?! Где Ея победа?!
Молись, Иезекииль, Христу Богу вместо со мною!

О чем прогремел ты, Исая Пророк?
Кулаки твои мощные. Крепко сжал ты их. Над толпою воздел. Все тебя слушают.
Крепкий старик ты. Так я тебя написал. Широкоплечего; руки в мышцах бугристых; вздуваются пластины мышц на груди; могучий лоб, череп будто из золотого самородка в горниле отлит.

Гремишь и гудишь ты, вулкан! Далеко тебя слышно!
Как ты кричишь: ИЛИ СПАСЕШЬСЯ, СПАСАЯ, ИЛИ ПОГИБНЕШЬ, ГУБЯ!
Слова твои хлещут меня плетью наотмашь.
Стыдно мне, что я мало спасал. Значит – не спасусь.
Стыдно мне, что, не зная, губил. Значит, погибель мне!
Каюсь, Исая! Крик мой ты слышишь?
И гудит земля под ногами: слы-ы-ышу-у-у-у... слы-ы-ы-шу-у-у-у...
Вяжутся времена толстой веревкой. Я – колокол. Ударь в меня, Исая.

Даниил, о, сидящий во рве львином!
Столб пыльного света падает на тебя и зверей, вокруг тебя мирно сидящих, лежащих.
Это львы. Тебя бросили к хищникам в ров, чтобы они тебя съели.
Но они пощадили тебя. Они тебя пощадили.
Что же за слово ты знал такое, что за заклатье?!
...Кроме МОЛИТВЫ СМИРЕННОЙ, ничего, ничего во рве львином не шептал ты.

И львы руки лизали тебе, смиренному,
Даниилу Умиленному, в белых одеждах,
в белых одеждах облаков полдневных, в багрянице заката,
в тучах грозových, черно-парчových,
в блистании молний,
в россыпях алмазов, рубинов, смарагдов, брошенных в дегтярную
тьму,
в потоках рек жемчужных, молочных,

в Райских шелках, светящихся каждой складкой изнутри,
умонепостижимо,
в розовом блеске зари,
благословеньем над тобою всходящем,
каплями соленой росы по щекам твоим впалым, сморщенным
яблоком печеным, текущем.

Сенокос. Юрий Иванович Гагарин

Наш батюшка... Ба-а-а-атюшка! Обман народа это все, батюшки, церкви. Не верил никогда и не верю я в этих батюшек. Специально церковь люди придумали, чтобы охмурять людей же. Чтобы – властвовать над людьми!

Мир так устроен, издавна: кто-то владычит, кто-то подчиняется.

Вслушайтесь только, вздумайтесь: ра-а-аб Божий, раба-а-а-а Божия. Ух! Раб! Раба!
А человек – не раб. Не-е-е-ет! Человек – это человек. Это – царь!

Правда, царь-то дурак...

Природу этот царь испоганил. Реки запрудил, гнилью воняют, говном. Рыба солитерная брюхами вверх плавает, смотреть – душа кровью обливается. Леса вырубает. На костях пляшет. Детей отравной водкой, наркотиками пичкает. И все это – человек, ца-а-а-арь природы, мать его!..

Пока сам человек... каждый!.. не поймет, что он и есть губитель всего живого – до тех пор и будет все катиться к едрене-фене. И сгибнем когда-то. В свой черед.

Почему это земля должна жить, когда всяк на земле помирает? И пчелка, и курица, и волк, и крокодил? И травка малая – засыхает, и скотина ее зимою жует? А человек – вишь ты, царь бессмертный, что ли?!

Не-е-ет, нет, все умрет. И земля тоже помрет. Вспыхнет? Замерзнет? Не нам о том знать. Помрет – и все.

И к этому надо относиться спокойно. Очень спокойно. Смерть придет, когда надо. И тихо, мирно надо принять ее. Природа все сама совершит, не надо твоих усилий, твоего отчаяния. Смерть – может быть, благо природы. Чтобы земля наша не лопнула от тех, кто кишмя кишит на ней, давит ее. Она, земля, от нас, безумных, все время освобождается. Знаете, сколько человек и зверей умирает на земле каждую минуту? А – каждую секунду? Не знаете? И я не знаю. Но – догадываюсь: много.

А батюшка... Что батюшка...

С батюшкой сегодня на сенокос ходили. В луга за Хмелевкой.

Он службу отслужил – рясу свою или как ее там, ризу, что ли – переодел, в штаны впрыгнул мужицкие, нормальные, косу – за плечо, голову белым носовым платком обертел, чтобы не напекло, и – с нами, в луга. Не отлынивает! Уже хорошо.

Я искоса на него посматриваю. Нет, мужик, мужик наш батюшка, не баба, это точно.

Бабы тоже на сенокос идут. Нарядились! Как прежде. В былые годы... Любо-дорого поглядеть. Все в белых, в розовых, в ярко-синих косыночках; юбки у кого белые, накрахмаленные, это у старух больше, ну, они по старинке обряжаются; у молодежи – цветастые, пестрые, как перышки у курочек; кто сумки с едой и питьем тащит, нагруженный; с шутками, с песнями идут, праздничные.

Сенокос – праздник. Красота, и жара, и цветов в полях – изобилие! Аромат стоит под небесами!

Иду, коса на плечо надавила, думаю думу свою: как же красива матушка-природа, как все в ней ладно, славно устроено, все ведь для живого, для зверя, птицы, для человека... каждая ягодка, каждый цветочек малый...

Запах сладкий в ноздри ударил. Ногой земляничину раздавил.

Наклоняюсь... батюшки, земляничник! По ягодам идем, как по ковру!

Гляжу – батюшка наш остановился, косу с плеч наземь опустил, к земле склонился... ягоду глазами рыщет... вот сорвал, в рот тянет... Улыбается.

Я кричу:

– Батюшка! Ну как, сладко?

Пес его знает, как его кличут-то по-церковному. Забыл.

И он оборачивает ко мне лицо, потное, блестящее, как лаковое, будто мед с него каплет, с лица-то его, пот с бровей стекает ему на веки, на ресницы, он ягоду на язык кладет, чмокает, как ребенок, и кричит весело мне в ответ:

– Сладко!

И я кричу насмешливо ему:

– Слаще причастья твоего?!

И тут он, ягоду проглатывая, косу на плечо легко так взваливает, как невесомую стрекозку, шаг ко мне делает широкий и тихо, тихо так, почти на ухо мне, говорит:

– Запомни, дед: слаще Причастия и важнее ничего на свете нет.

И так глазами сверкнул, что я – а уж я-то бывалый!.. – испугался. Не ударит ли.

А тут и луг наш – вот он уже, и травы – по пояс! А кто малорослый – тому и по голову! Вот мне, к примеру, я-то маленький... Эх, росточком я не вышел, но бабы все равно меня любили... И любят... И баян мой любят, и пчел моих, и мед мой, и фотографирую я их, на старый аппарат снимаю, аппарат-то не дешевый, «КОДАК» называется...

Бабы косы осторожно на траву кладут, в теньке – сумки раскладывают, от солнышка еду прячут. Мужики на ладони поплевают. Работа предстоит!

Разбредаются по огромному, как заволжское озеро, лугу.

Думаю себе: еще и за Волгу завтра поедем косить, на лодках...

Гляжу – батюшка наш далеко отходит, к опушке березняка, плечи под белой рубахой широко расправляет. Штаны у него смешные. Выше щиколоток гачи! Интересно, ему жениться можно или нет? Что-то я слышал – есть белые попы, есть черные. Вот это – какой поп? Белый или черный? Белым жениться, что ли, можно, а черным нельзя? Или наоборот?

Напридумывают, церковники. Против природы-матушки прут. Ну как можно запретить человеку, мужику ли, бабе, любиться? Как? Это ж... всякая же тварь любится! Пчелка крохотная! Птичка-щегелюнь! А лебедь, он вон, лебедицу подстрелят, а муженек камнем кидается с высоты! Чтобы – разбиться, от горя, значит... не сможет один жить, летать... Иной раз в сад выйду – на жучков, в любви слившихся на листочке, долго, долго смотрю... И сам погружаюсь в радость. В сладкую, солнечную дремоту...

Старый я, что ли, уже стал...

Поп наш косу крепко взял, умело. Я гляжу: ну давай, давай! Городской попенки! Покажи удаль свою, ну!

Слежу внимательно. Все верно делает. Как наши, деревенские. Встал, ноги расставил, как столбы. Косу в воздухе определил. Над травой – как серебряной молнией в грозу ударило – взмахнул...

И пошел, пошел, пошел, и плечи взбугрились под рубахой, мгновенно, темно и мокро вспотевшей, как камни, мышцы перекачиваются, голову откинул, как танцует, как праздничный танец прекрасный танцует, идет, идет плавно, медленно, и коса только: вж-ж-ж-жих!.. вж-ж-ж-жих!.. – и трава смиренно, обреченно ложится, к его ногам, в этих штанах коротких, как

Я с ней – на этом вот лугу, под свежими стогами – обнимался когда-то...
Давно?.. недавно?.. да будто вчера...

У Магдалинки муж давно, дети взрослые... может, уж и внуков-котят теплая кучка в лукошке... а все глазки раскосые горят из-под чисто-белого, как снег, платка...

Я вдыхаю дурманый, цветочный, ягодный воздух глубже в легкие. Как целое небо нежное, голубое – вдыхаю.

– Солнца лу-у-у-ч!.. уж не загля-а-анет!..

– Птиц не слы-ы-ышны!.. голоса-а-а-а!

Мать же твою, как же ты здорово поешь-то, мужик, а...

– Мое се-э-э-эрдце!.. тихо вя-а-а-анет!.. Не глядя-а-а-ат уже глаза-а-а-а!

– Да, как же, – зыркает в мою сторону однозубая Валя Борисова, – как же!.. Не глядят!..

Так и норовишь, Юрка, к кому-нито... под покровом ночи темной... от пчел своих кусачих... от женки своей, Ляльки...

– Лялю не тронь, – бросаю я однозубой Вале через потное плечо, – Ляля моя – неприкосновенна... – И еще громче воплю, заливаю голосом, как горячим вином, всю округу лесную, жаркую:

– Солнце всхо-о-о-одит!.. и захо-о-о-одит!..

Поп останавливается внезапно.

Резко так: р-р-раз – и встал. И песню оборвал.

И я тоже заткнулся, как пробку в рот вставили.

Гляжу – голову задрал, в небеса всматривается.

Наблюдает, как из-за Волги страшные, черно-синие тучи ползут, наползают.

А я уж, посреди травы скошенной, совсем рядом к нему стою.

Рубаха на нем вся промокла. Спину хоть выжимай. Из белой – мокрой, серой стала. И платочек носовой на башке, с четырьмя потешными завязками с четырех углов, тоже весь вымок.

Рукой взмахнул.

И я залюбовался вдруг им, как баба прямо. Красивый, гляжу, мужик-то! Ух, бабыдохнуть будут в селе... Смерть мухам, какой богатырь... Да справный... Да косит как... Хорошо, хорошо ты, поп, себя показал... Уважать тебя – будут...

– Гроза идет, – негромко выдохнул, но я услышал. – Да сильная будет!

Вж-ж-жих-вж-ж-жих – коса за спиной.

Обернулся я: Настька Кашина.

Глядит на попа. А поп на нее не глядит.

Глядит – в небо.

И молния, розовая, ветвистая, страшная, среди синей черноты – как выблеснула!

– Господи, – быстро, мышью лапкой, перекрестилась однозубая Валя, – Господи, пронеси, Господи...

И на батюшку смотрит.

А он все глядит, глядит в небо, ну что он там увидел?! Глядит, не отрываясь. Мужики, бабы – косы на плечи, бегут в тенек, под деревья на краю луга, в лесок бегут, туда, где сумки с провизией томятся.

– А может, пронесет! – хрипло кричит Пашка Охлопков, одноглазый.

У Пашки один глаз, но он им все видит.

А я со смехом внутренним думаю: ну и сельцо наше, у кого один зуб, у кого один глаз, только я, старик Юра Гагарин, еще молодец хоть куда! Два глаза, все зубы, хоть и сточены временем-поедалой, две руки, две ноги, да и пятая нога еще ничего, еще хоть куда, ха, ха, ха...

И тут поп наш обернулся.

И на нас на всех так смотрит, будто впервые увидел.

Глаза у него такие... такие... Небо в них плавает. Молнии вспыхивают. Звезды... дышат...

Настька Кашина аж на цыпочки встала.

И рот открыла. Как в кино, когда про любовь показывают.

А Дорка Преловская на корточки села, по земле глазами ищет, да как заблажит:

– Ой, мышка! Ой, черненькая! Ой!

Голос упал. Слезки по щекам катятся.

– Ой... кровь...

Поп наш на колени рядом с Дорой опустился.

В ладонях его мертвая, вся в крови, черная полевая мышь лежала. Как кусочек ржаного хлеба. В вино обмокнутый.

– Ты ее косой подранила. Ну что ж... не оживет уже, нет...

– Убила-а-а-а!.. – захныкала Дорка, кулаком по щекам жарким слезы размазывает.

– Не умывайся слезами, – тихо и строго сказал поп. – Это жизнь. В ней всегда есть смерть.

Помолись за нее. За мышку. Давай!

И руку поднял, и крест на себя наложил. И что-то свое, церковное, непонятное, уже гудит, гундосит.

И Дорочка шепчет-бормочет, повторяет его мудреные слова вслед за ним.

И крестятся, тьфу, дураки оба.

Однозубая Валя отдыхала, опершись на косовище. Безумное, торжественное, мохнатое лучами, как грива львиная, белое, золотое солнце палило все сильнее, и гроза шла все страшнее.

– Живей! – взвопил Пашка Охлопков, коса на его плече отсверкивала старой ржавчиной. – Шевелите ножками, ехерный бабай! Что театру-то тут устроили! Дорка! Юрка! Валяйте вон туда, к березам! Щас как ударит! Што вы там, ягоды собираете, што ль!

И тут что-то случилось.

Я до сих пор понять не могу.

Настала удивительная, глубокая, как омут, тишина.

Будто небо распахнулось, как кто ножом его взрезал, как рыбу, и мы заглянули ему под ребра.

...тишина. Все остановилось.

Замер легкий луговой ветерок. Ни лист не шевельнулся. Звуки прекратились.

Облака в небе, пухлые, кудрявые, что тебе овечья шерсть, застыли морозно.

Грозовые тучи тоже встали на месте.

Все замерло. Все... будто умерло.

Не двигалось. Не жило.

И в немой тишине медленно, медленно, в зените небесном, раздвинулись облака и тучи. И в ярком, густом, как синее молоко, чистом проеме вспыхнул свет. Будто еще одно солнце зажглось.

Свет был чистый, ясный, спокойный; на него можно было глядеть. Все задрали головы и глядели.

Задрала голову Однозубая Валя. Пашка Охлопков, с косой на плече, стоял, в зенит вперившись. Закинули башки к небесам Коля Кусков, что всем крыши шифером крыл, и Ванька Пестов, что в праздник Ильи Пророка работал, бревна шкуруил, а ему заноза в зрачок впиалась, глаз-то еле спасли. Запрокинули потные, красные лица – эх, на солнце уже сожгли, теперь кислым молоком будут на ночь мазать!.. – Ветка-коровница и Вера Формозова, Вера, любительница живности всякой, у ней дом двухэтажный и три сарая, и скотины она какой только ни держит: и овец-баранов, и коровушку бурую, со звездой белой во лбу, и кур-петухов, и три

козочки у ней, а котов одних – так восемь штук!.. ну и собаки тоже сюда, до кучи... как же без собак-то... без собак – нельзя...

Все в небеса глядели, как заколдованные – и Галя Харитонова, по второму мужу Пушкарева, бабушка уже, седенькая, морщенная, а туда же, на сенокос, стариной тряхнуть, и Линка-Магдалинка, мариечка моя косоглазенькая, и Николай-Дай-Водки, друг вдовца Зиновия, и хромой и лысый дед Лукич, на Вэ И Ленина похожий, и длинный Венька, сынок Александры Беловой, Сан Санны, у ней дом весь, целиком, мощный плющ обвил, и Сан Санна все шутит: я при жизни – как в могиле, вон какое пышное надгробие у меня!.. – и библиотекарша наша, Ирка Елагина, ну да, ей двум коровам-то надо много сена в зиму заготовить, одна, без мужика, колготится, – и Дорочка Преловская личико подняла, и...

И Настька... Настька?..

Я один все видел, как заколдованный. Я видел все и вокруг, будто бы я был стрекоза, и глядел вокруг и всюду круглыми, во всю голову, глазами.

Я видел и небо, и колодец света в нем. И крестьян наших, в небо глядящих. И окровавленную мышку на траве. И стоящего на коленях, бормочущего молитвы батюшку.

Я видел: одна Настька Кашина в небо не глядит.

А глядит на попа.

Во все глаза широкие, детские – глядит.

И он лицо поднял. И бросил бормотать.

И я видел, как скрестились их глаза, как две небесных молнии, как две золотых звезды, и стали одним светом.

И я, дурак, даже руку поднял, ладонью вперед, от света заслониться.

...и все появилось вдруг, снова.

Зашевелилось. Запело. Защелкало. Засвистало. Затренькало.

Полились жаркие лучи на плечи, на щеки, на спины. Еще жарче, вроде, стало!

Ветер траву взметнул. Некошенная, по животам, по лодыжкам, по глазам хлестнула!

И – чудеса! – будто сильной рукой кто их отодвинул, стали уходить за Волгу тучи, уходить стала гроза, уходил, таял страх, и все поняли, войны не будет, смерти не будет, и поняли все – сенокосу ливень не сужден, избавлены на сегодня, поменялся ветер, подарок сельчанам подарен, и ловить надо миг, ловить, ловить, косить быстро, сноровко, споро, не то, не ровен час, из-за реки, из-за дымных, хвойных лесов еще одна гроза придет, явится – не запылится...

И все задвигались, засмеялись! Друг на друга воззрились, будто впервые увидели! Беззубая Валька хохотала, десен не стыдясь! Колька Кусков засвистел, как соловей в кустах: фью-фью, фью-фью!

И замахали по жару, в истомном мареве, косы. Завизжали! Засвистели!

Запели...

Косы-то тоже поют, как люди. Железную песню. Серебряную песню.

Древнюю, как мир наш. Как небо.

И подумал я про первых людей: чем они тогда, родимые, траву-то первую свою косили? А животных-то тоже надо было кормить, заготавливать сено им в зиму. Зима да лето да весна, вот вся жизнь-то и пройдена... а?..

И видел я: батюшка встал, спиной к Настьке повернулся, и – вж-ж-жих! Вж-ж-ж-жих! Вж-ж-ж-жих!

А Настька, радостно взмахивая маленькой, как игрушечной, косенкой, тяжелую-то побросала, не сдюжила, крепко, как зверек, вцепившись пальцами-коготками в косовище, переступая по траве босыми ногами, шла за ним, медленно шла за ним по сухому горячему лугу следом. И грязные пятки ее босые слепо давили в траве, меж колких сухих остей, крова-

вую землянику и нежных кузнечиков, червей-выползков, напрасно ожидавших великую грозу, и скорлупки яиц перепелиных, пух козодоя и синих, как жаркий зенит, юрких жужелиц.

По живому она шла за попом; по живому.

Детство. Серафим

На столе у бабушки всегда лежала чисто выстиранная, метельно-белая скатерка, и у нее по углам были белыми плотными нитями прошиты такие смешные розочки и ромашки.

Бабушка, поднимая узловатый палец, говорила мне смешное длинное слово, когда я баловался и теребил скатерть: «Апликация».

Мы жили в бараке на Автозаводе. Пол был дощатый, стены тоже. Доски черные, старые. Бабушка, кряхтя, ползала по полу на коленях и отскребала половицы кухонным тесаком, когда мыла полы.

Я почему-то в детстве очень любил праздник Сретенья. Стоял февраль, мела синяя колючая метель, от мороза трещали стены барака, а бабушка пекла пирог с черемуховым повидлом – очень вкусный пирог, хотя на зубы все время попадали дробленые черемуховые косточки, как железные осколки, и я ойкал, смеялся и выплевывал косточки на блюде, и кричал: бабушка, я зуб сломаю! – но это надоедало, и я их смело глотал.

А потом со страхом думал: а не вопьются изнутри в кишки?

На Сретенье бабушка брала меня в церковь.

Она брала меня в церковь и на другие праздники: и на Рождество Господа нашего, и на Крещение, и на Воздвижение Креста, и на Усекновение главы Иоанна Крестителя, и на Троицу, и на Рождество Богородицы, и, конечно, на Пасху Господню мы с ней в церковь ходили; но вот почему-то, почему-то Сретенье...

Я так его запомнил.

Я так его ждал.

Лютая метель, обвивающая ноги в старых моих валеночках. Клочки внезапно-синего неба – как чисто выстиранные синие тряпки – среди мчащихся по небу серых, рваных, чреватых снегами туч. Холод! Чистый! Зверий, злой... Будто кусает тебя мороз за лицо, одно-одиношенькое высунутое из туго увязанной под подбородком мохнатой, ушатой шапки...

Бабушка крепко за руку держит меня. Будто ветер сейчас вырвет меня у нее из руки, и я сорвусь – и улечу в широкие небеса, в жужжащие снега. Ах ты, выюга, не видать друг друга...

В церковь идем. На службу идем.

Это в детстве было таким торжественным, как царская песня: СЛУЖБА.

Я не думал, что это кто-то кому-то служит, как слуга – господину.

Я позже, потом, поздно, понял, почему – Служба, и Кто – Господин.

Перебрали, как белую реку, метель. Входим в церковь.

Бабушка никогда не скажет: «Пришли в церковь». Бабушка говорит: «Во храм».

Бабушка, отдуваясь, развязывая левой рукой платок, правой – медленно, тихо, осторожно притискивает щепоть ко лбу, к правому плечу, к левому, к животу под завязанным на спине козым пуховым платком.

Крестится.

Я, глядя на нее, стараюсь повторить все точь-в-точь.

Крещусь: как она.

Задираю голову. Над круглой аркой входа – над моей головой – лицо. Лик.

Золотой. Глаза черные. Как две маслины.

И золотой кружок вокруг затылка. Сложен из мелких, самосветящихся камешков.

Рука поднята у груди. Двумя пальцами вверх, указательным и средним.

Губы не улыбаются. Губы безмолвно что-то говорят.

Все золотое лицо летит сверху к тебе, на тебя, как золотая птица. И будто целует тебя.

И жарко становится твоему жалкому, малому личику.

Я уже знаю: это – Господь наш, и Его зовут Иисус Христос.

Бабушка говорит: «Исусе Христе».

Вот она сейчас крестится и шепчет тихо, но отчетливо, и я все слышу, до слова:

– Господи Исусе Христе, Сыне и Слове Божий, молитвами ради Пречистыя Твоея Матере Богородицы Девы Марии и всех Твоих святых... помилуй нас, грешных...

На Автозаводе у нас была одна церковь. Старая такая... заброшенная. Я тогда не знал, что с Богом страна боролась как могла. Что церкви – взрывала, на кирпичи растаскивала. Что обломки древних солнечных фресок – на морозе – старухи, собравшись в кружок черный, сиротский, поминальными слезами обливали.

Эта церковь была живая. Еще живая.

Бабушка брала маленький веничек – почему-то в углу, при входе, аккуратно так стоял, бабушка звала его почему-то смешно: «голик» – и этим голиком стряхивала налипший мне на валенки снег.

И свои ботики тоже отряхала. И опять благодарно, радостно крестилась.

И входили мы внутрь.

А там, внутри, стоял, как золотая вода в горячем, на огне, сосуде, полный песнопений, пламени и тайной радости, праздник.

Свечи! Золотые, длинные, медовые свечи Сретенья! Как вы ярко горели! Вы мне мою детскую душу – насквозь прожгли.

Может, я священником стал лишь из-за вас, золотые Сретенские свечи.

Низко кланяюсь вам, свечи; бабушке моей покойной; автозаводской той церковке февральской, неубитой, живой.

Праздник пел. Праздник дышал в меня мятным ладаном из медленно качающегося на цепи позолоченного яйца в руке человека, одетого в длинную, белую с золотом, вроде как ночную рубаху. Дьякон махал кадилом, но я не знал тогда, что это кадило. Я просто вдыхал чудесный запах, а вокруг меня пели, и я слышал просто один небесный гул музыки, а слов не слышал, что поют.

– Ангелы поют... Ангельское пение... – шептала умиленно бабушка.

Ее все сморщенное, как печеное райское яблочко, маленькое лицо румянилось, как у девушки. Она заправляла сухими узловатыми пальцами белые пряди под пуховый вытертый платок и снова медленно, важно крестилась.

Я, сквозь пелену светоносной, летяще-радостной музыки – будто белые голуби вокруг меня летали, будто это метель летала и кружилась, но не злая, а добрая, – начинал различать слова:

– Радуйся, Благодатная Богородице Дево... Свободителя душ наших... дарующаго нам воскресение...

Я тыкал бабушку пальцем в бок и тихо, еле слышно спрашивал:

– Баушк, а что такое – воскресение?

Бабушка терпеливо наклонялась ко мне.

Служба вокруг шла, пела, летела, празднично воздевала руки в белоснежных, золотых ризах, сияла, мерцала, вспыхивала небесными и земными огнями.

– Воскреснем все мы, Боречка, – еще тише говорила она мне на ухо.

И развязывала мне под подбородком завязки цигейковой шапки.

Я вздевал выше освобожденную мордочку и уже громче вопрошал:

– А это? Как это? Зачем мы воскреснем? Мы же не умерли!

Служба шла, пела, летела, сверкала, радовалась.

Бабушка сдергивала с меня шапку.

– Прости Господи... забыла с мальчонки шапчонку-то снять... Прости мне, Господи, дуре старой...

– Баушк... ну мы же живые!..

Тогда она наклонялась еще ниже ко мне, совсем низко, одного со мной роста становилась, крохотная старушка, – как девочка, как шестилетка, – и ее губы шуршали, шелестели по моей еще почти младенческой, тоненькой, ребячьей коже, по нежной, в пушку, детской щеке:

– Мы все умрем.

А голос, голос над нами летел, и сколько раз потом я сам это читал, и сколько раз потом плакал от радости внутри, читая это, вот это:

– Ныне отпускаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему, с миром; яко видеста очи мои спасение Твое, еже еси уготовал пред лицом всех людей, – свет во откровение языков, и славу людей Твоих Израиля...

И слышал я еще голоса, и кто это пел?.. люди ли, человеки, девочки ли в хоре церковном, или ангелы, что летели на нас, мимо нас, сквозь нас со стен старой заброшенной церквушки, у которой и крест-то над куполом покосился, гнул шею в злющей метели, а кто и когда поправит?.. – неважно, кто это пел, но музыка втекала через уши прямо в душу, и я, малец, не знал еще тогда, почему – свечи, зачем – огни, отчего – эти слова, льющиеся, как мед, как масло:

– Утробу Девичу освятивый Рождеством Твоим... и руке Симеоне благословивый, якоже подобаше, предварив, и ныне спасл еси нас, Христе Боже, но умири во бранех жительство и укрепи люди, ихже возлюбил еси, Едине Человеколюбче...

А свечи горели, свечи пылали, язычки алые, желтые, медовые тряслись и дрожали, и бежали по легкому сквозняку, будто по вольному степному ветру, свечи воздух возле людских лиц целовали, свечи радовались вместе с людьми, свечи водили хороводы огненные вокруг нас, свечи смеялись от радости с нами!

И я глядел, глядел во все глаза на икону большую, висящую прямо передо мною в притворе: красавица-Мать в светло-розовом хитоне, яркая, как заря, на руках Младенчика держит... и страшно Его Ей передать на руки Старцу, и боязно, а надо... впервые от Себя Его отрывает... а старец-то уж руки протянул!.. и улыбается, и борода его белая, метельная, метелью по ветру летит... и Отец сзади руки к груди прижал, переживает... а вон поодаль – еще старуха стоит, старая, коричневая лицом, как моя бабушка... стоит и, кажется, плачет... и черные складки ее платья шепчут: мы все умрем... мы все умрем...

– Мы все умрем! – крикнул я зачем-то громко, ка всю церковь.

Бабушка меня за руку как дернет!

– Ох ты, горе мое... Да тише...

Мать в розовом, как заря, платье внезапно сделала шаг ко мне с иконы – и сошла, ну да, сошла прямо на пол церкви, вот наступила босою ногой, а нога-то у Нее белая, розовая, как розовая голубка, нога летит, летит голубка, Она идет ко мне летящим шагом, летит ко мне, ко мне, ко...

– ...душно тут, и свечи...

– Дайте ему святой водички...

– Да очухался уже... маленький...

Бабушка сидела на церковной скамье, около зарешеченного окна, я сидел у нее на руках, она прижимала меня к себе и сильно встряхивала. Я шире открыл глаза и сказал, языком заплетая:

– Она меня поцеловала!

Бабушка крепче прижала меня к себе и заплакала от радости.

– Сыночек, сыночек мой... Боречка... ласточка...

Мелкие, быстрые поцелуи облепляли мое лицо, как пчелы, как бабочки летние, садились, вспархивали, улетали.

Она меня звала всегда так – не «внучек», а «сыночек».

У бабушки моей трех сыновей на войне убили.

Немцы... фрицы...

При коротком, наотмашь бьющем слове «фриц» мне представлялся почему-то рыбацкий котелок с железными ушами, и в уши ветка продета, и над костром мотается, а в котелке – уха, что ли, варится?.. или – человечина...

«Да ведь и они тоже люди, – говори бабушка, плача, зажигая перед домашней иконой Богородицы лампадку, – это им Гитлер, сучонок вонючий, приказал... А так – они не виноватые, фрицы...»

– Баушк, где мы? – спросил я.

Вокруг нас звучали густые, как мед, голоса, ходили и крестились разноцветные люди, звенела чистая, как хрусталь, музыка, жарким расплавленным золотом пылали свечи, толпы свеч, как толпы горящего золотого народа.

– Во храме, – тише мыши сказала бабушка над моим запрокинутым лицом.

– Мы все умрем? – прогундосил я – и заплакал.

– Умрем, а потом все воскреснем, – шепнула бабушка. Ее беззубый рот смеялся беззвучно. По глубоким руслам темных морщин катились маленькие, как кривобокий речной жемчуг, мутные, как самогонка, слезки.

– Как – воскреснем?

Мое любопытство границ не имело.

– Да вот так. Земля раскроется, гробы отворятся, все скелеты оденутся плотью, и мы оживем.

– И мои дядья оживут? Ну, которых на войне убили, да?

Напротив скамьи, где сидели мы с бабушкой, висела икона. Икон много было в той старой церкви. С иконы на меня снова глядела моя Красавица. Она была тут почему-то одна, без Ребеночка. Ручки сложила на груди, головочку склонила, и так улыбалась, что становилось горячо сердцу.

Бабушка меня уже не слушала. Бабушка глядела на Красавицу, и слезы так же мелко, мелко, быстро текли.

– Елеуса, – донесся до меня бабушкин шепот и хриплое дыханье.

«Елеуса, Елеуса, Елеуса...» – стал повторять я про себя – и уснул.

Бабушка Марфа была матерью моей матери. Мою мать звали Матрена Ильинична, а отца – Валентин Иванович Полянский. Бабушка рассказывала мне байку, как они познакомились, мои родители. «Мать твоя училась на маляра, а папка твой учился в ФЗУ на краснодеревщика. Папку твоего в сорок первом году привезли из Польши, и ему было одиннадцать лет. Ну вот они и полюбились быстро! Долго ли! Дело молодое! И вы, детишки-карапышки, пошли...»

Я был четвертым ребенком в семье. У меня было две сестры и один брат.

Брат мой Алеша погиб на реке; утонул. Десять лет ему было. Плавать умел, и хорошо плавал. В омут попал, затянуло.

Еще про одного братца смутные, сквозь рыдания, разговоры ходили, – про младенца, и недели не прожившего, и того Владимиром звали, и он умер от дифтерии, задохнулся в жару. Я закрывал глаза и пытался представить его себе, а выходил то ли котенок, то ли лягушонок.

Широко разевала зверюшка рот – то ли кричала, на помощь звала, а то ли воздух ловила. Последний.

Мне становилось страшно, я тряс головой и крепко жмурился. Кровь громко, дико толкалась в ушах. Так я силился, малой, представить себе смерть. И, кроме звона в ушах тугой крови, ничего не видел и не слышал.

Сестры росли шепутные, беспутные, хулиганили со мной, играли в непотребные игры. Раздевали меня, стаскивали с меня штанишки. Я хихикал, а они кричали: давай в дочки-матери-отцы играть! И валили меня на себя.

Дедушку моего, Илью Семеныча, я никогда не видел.

Как и мои дядья, бабушкины сыны, он погиб на мировой войне. Фрицы убили его. Это было на Белорусском фронте. Он поднялся из окопа и побежал в атаку, и закричал: «За мно-о-о-ой! За Родину! За Сталина!» И его срезала автоматная очередь – влет. Так рассказывала бабушка. А ей так рассказал друг дедушки. Он выжил и приехал к нам домой, одноногий и без руки. «Козью ножку» одной рукой крутил, из старой газеты. Насыпал в газетную трубочку сухой махорки, раскуривал «козью ногу» – и морщился, будто яд заглотал, и плакал; а я думал, мужчины никогда не плачут.

Мой отец, Валентин Иванович, умер рано, в тридцать лет.

Я не знал, отчего он умер. Я даже не знал, где. Мать пришла домой пьяная, с лохматой головой, ее бледные отвислые губы тряслись, как у голодной собаки. От матери плохо пахло, и я видел, что ей плохо, и мне стало ее очень жалко. Я подбежал к ней, обнял ее колени и уткнулся головой ей в живот. И она гладила меня по затылку жесткой, как доска, шершавой рукой и приговаривала плывущим, несвязным языком: «Ах-х-х-х, бедненький мой, сынка, ах-х-х-х... Вот и батяни твоего – нету-у-у-у... Помянули его мы, да... все честь по чести, все по-русски, да-а-а-а...» И такой у нее живот был толстый, родной, трясущийся в рыданиях, пахучий, как ржаной хлеб.

Я не знаю, может быть, отца убили. Я ничего не знаю.

Я помню только – диван старый, обшитый холстиной серо-зеленой, с жесткими валиками по бокам, на нем отец спал; приходил домой всегда поздно; еле смогал раздеться – и уваливался, и через минуту храпел беспробудно. Даже не ел на кухне. Храпел, задрав кадык; я, в своей колченогой кровати за ширмочкой, тихо вставал на цыпочки, перекидывался через деревянный край и глядел, как отец спит.

Спал человек. Спал, умаявшись.

Где он работал? Что делал?

Работал; семью кормил.

Над диваном, высоко, на огромном, будто б для распятыя выкованном, ржавом, с большой и плоской, как гриб, шляпкой гвозде висело отцовское ружье. Отец иной раз ходил в поля и луга на охоту, приносил уток. Мать ощипывала птицу, жарила и запекала в духовке. Помню пух и перья, что оголтело летали в воздухе и забивали мне, любопытному, нос и рот.

Отец учил меня стрелять. Глаз у меня был здоровый, хороший, и я попадал в цель, в рисованную на заборе мишень, и отец смеялся, радовался: охотником, как я, будешь!

А птицу однажды сбил влет, голубя. И горько, горько плакал, задыхался, конца слезам не было. Успокоился лишь тогда, когда мы с отцом этого голубя, с окровавленным сизым пером, похоронили во дворе, за гаражами, в коробке из-под маминых зимних сапог.

Я, стараясь тихо дышать, глядел на его закинутое к потолку, как в гробу, лицо. Он был очень красив, мой отец. Странной, потусторонней, не мужичьей – не рабочей – не крестьянской – а благородной какой-то, тайной, забытой красотой. Лицо плыло во тьме, двоилось, мерцало. Длинные глаза закрытые под длинными стрелами бровей; губы нежные; щеки впалые. И над ним, длинно, долго лежащим, протянутым во весь диван, как рыболовецкое удище длинное, тихо-мирно брели, на диванной полке, под овальным зеркальцем, в желто-медовое

дерево дивана встроенным, семь мраморных слоников. Нежно-белые слоники, чуть в желтизну, мне казалось, они сладкие как сахар. Я днем всегда тайком взбирался на диван и лизал их. Нет. Не было чуда. Холодный мрамор. Ни вкуса. Ни сласти. Ни жизни.

Милые, бедные слоники. Мертвый мрамор.

Нет! Живые они для меня. Милые, бедные и живые.

Они все так же там идут, под зеркалом, по деревянной полке. И отец храпит, усталый. И мать сидит на табурете, подперев тяжелую голову сонной, тяжелой рукой.

Жили мы бедно. Иной раз – и очень бедно.

Слишком бедно мы, бывало, жили.

На обед варили картоху без хлеба. На ужин – черные сухари с несладким чаем грызли.

Мать, раскладывая сухари нам, детям, около чашек непромытых, с чайным коричневым налетом внутри, жестко, больно шутила: тебе сухарь, тебе сухарь, и тебе сухарь, на первый-второй – рассчитайсь!.. И мы, дети, спешили крикнуть весело: «Первый!.. Второй!..» А кто третий оказывался – тому несильный подзатыльник давали: а чтобы, значит, не слишком сухарю радовался.

И мать наша смеялась за столом вместе с нами. И размачивала сухарь в чашке. И кусала сухарь молодыми, но уже гнилыми от недоедания зубами.

И мать наша – шла милостыню собирать.

Я долго этого не знал, куда она на добычу денег уходит; мы все думали – на работу. Она не говорила ничего. Да мне сосед разболтал. Иди, кричит, погляди, мать твоя у церкви на карачках сидит, пьяненькая уже, в шапку денежку собирает!

Он кричал мне: «И кре-е-е-естится, пасс-куда!»

Я нахлобучил шапку ушатую, всунул босые ноги в валенки – и сломя голову побежал, понесся к церкви. Я знал, куда бежать – эту дорогу мы с бабушкой хорошо изучили. Направо, налево... так, замереть перед светофором, не то машины налетят, собьют... и ты – у-м-решь...

«Умм-реш-шь... У-м-мреш-шь...»

Я бежал и хватал воздух ртом. Воздуха не хватало.

И, вот она, церковь моя; и вот она, мать моя – ну да, все правда, сидит, скрючив ноги, поджав их под себя, как татарочка на ковре; и шапка перед ней, и в шапке – монетки, белые и медные, и бумажки засаленные. Деньги.

Мать поднесла руку ко лбу и медленно перекрестилась.

И завыла, заныла, будто у нее щипцами выдрали изо рта больной зуб:

– Люди-и-и добрыя-а-а-а! Пода-а-а-айте несчастненько-о-о-ой... кто скока можи-и-и-ит... Господь вас не забуди-и-и-ит...

Ветер валил меня с ног. Я сам присел на корточки и зацепился обеими пятернями за ледяной асфальт, за корку наста, – и меня, как зверька какого, ветер все равно нес по льду, и я скользил, ногтями цеплялся, и валенки подворачивались, и вот ветер снес меня, покатыл, будто я был мохнатый шар, перекаати-поле в овраге.

Прочь покатыл от матери моей.

– Пода-а-айте, граждане дороги-и-и-ие, седня пра-а-а-здник, на помин души-и-и-и...

Ветер откатыл меня за сугроб. В рот набился грязный снег. Я встал на четвереньки, плевался, вытирал ладонью лицо.

Солнце било мне в глаза. Солнце богатым золотом поливало нищий лед. Мать заметила меня.

– Ух-х-х-х ты!.. ах-х-х-х ты... все мы космонавты-ы-ы-ы... Что ты тут?! А?!

Я видел – мать сильно рассердилась.

– Мамка! – стоя на четвереньках, крикнул я, и ветер отнес мой крик от матери вбок и вдаль, – мамка-а-а!.. Пойдем отсюда!.. Не надо так!..

Я плакал. Я понимал: ну не надо, не надо просить.

Мать встала, потом нагнулась, подняла с обледенелой земли шапку с деньгами. Высыпала выпрошенное себе в заскорузлую руку.

– Не надо?! – крикнула она зло, и глаза ее зверино засверкали. – Не надо?! А скока мне на «Красной Этне» платят?! А чем я вас, всю ораву, кормить завтра буду?! А?!

Она сунула деньги в карман, и кулак не попал в карман, пьяно скользнул мимо, и все деньги – и монетки и бумаги – высыпались на снег, на лед, и ветер мигом разнес, развеял жирные, желто-зеленые, сальные, потные рубли и трешки.

У ног матери осталась лежать только мелочь. Серебро и медь.

И она плюнула вбок, и выматерилась грязно, и слюну отнес ветер; и села на корточках перед чешуею монет на снегу; и обхватила красное от мороза, губастое, как у рыбы, лицо руками.

И я встал, и побежал наперерез ветру, подкатился к ней, к матери моей, и заревел, и эти монетки маленькие стал ногтями, пальцами из снега выковыривать, со льда поддевать, матери в карман толкать, – но она вдруг стала как мертвая, неподвижная такая, не видела, не чуяла ничего, только сидела так, будто увидела что страшное, закрыла лицо руками – и так застыла, будто не живым человеком была, не мамкой моей, а тряпичным чучелом на огороде.

Рассказ о жизни: Юрий Иванович Гагарин

Моя жизнь тяжелая была, а я ее все равно люблю. Что ж еще любить-то, как не жизнь!

Родом я из села Иваньково на Суре, отсюда, от Василя, двадцать пять километров. Отец мой был речник. А дед мой был бурлак. А деды дедов моих все насквозь были бурлаки. Короче, из бурлацкой я семьи. Поэтому река мне родная. Я с детства на воде! На баржах отец мой плавал; грузы перевозил. Матросничал. И я с ним. В войну мы спасались тем, что отец, возя картошку в трюмах, проковыривал мешки и чуток выкатывал из них картохи, а потом те мешки лошадиной иглой зашивал. Крал? Ну да, крал. А не скрадешь тогда – не процыкаешь! Одну зиму выжили лишь потому, что отец доски ловко скрал. А как? Дерево на баржах перевозили. Бревна да доски. И отец удумал штуку: водой доски подзалить, ну и залил, они ко дну трюма и пристыли. Когда груз прибыл – на пристани рабочие поленились от железа дощечки отдирать. Мороз крепко схватил. Ну сколько там досок недосчитались? Десяти? Двадцати? Больше? Плевать! Пусть их к шутам примерзли! А отец их ломом отколол, ночью... Мы доски эти – на санках – домой возили... Тогда в Нижнем жили. Нижний тогда назывался – Горький. В Горьком, значит. Ну и... И продавали эти доски на рынке. Потихоньку. На Сенной площади. И – еду покупали!

Помню метель на Сенной... дома мрачные... а снег белый, белый, как сахар, я все сахару тогда хотел...

Так в детстве голодном сладкого хотел, что, может, через эту жажду потом, в возрасте уж, пчел завел, чтобы – сладкий мед всю дорогу ложками жрать...

А если б не доски те – я бы, может, ножки-то свои ребячьи тогда, в войну, протянул... как многие другие...

А потом вырос я, на баяне научился играть; и хорошо играл. И снимать на аппарат научился, и очень этим делом увлекся. Да и подзарабатывал фотографией, чуть что – ко мне бегут: Юра, сегодня первое сентября, линейку школьнуюними! Юра, сегодня юбилей у Невзоровых, серебряная свадьба, снимай-ка сладкую парочку! Юра, шелкни, встреча выпускников! Ну и тому подобное, пятое-десятое. Я сниму – и денежку возьму. Тем и жили мы с женою, с Лялькой. Парень я был справный. Однажды в сельсовет позвали, к Анне Цыгановой. Всех из кабинета выгнала. Глядит на меня, как сыч. И шепчет: Юрка,ними меня обнаженной! Меня аж пот прошиб. Как это, говорю, зачем это? А она уж руку мне на плечо кладет. А потом

и на ширинку. Нахально так. Я весь в холодном поту. Прознала, змея, что я девок нагишом в полях, за стогами, снимал! Запрещено это тогда было, и называлось – пар-но-графия. Глянешь и упаришься от стыдухи. А я когда спечатывал этих голых девок-то – да, весь парной над проявителем стоял, красный! И красиво же я, чертяка, все это шелкал! Красота, и слюни текут! Втихаря – продавал, да... из-под полы... и не в Василе, нет, в Воротынец ездил, а то и в Горький... А тут она лапает меня сама! Я взял да и ударил бабу наглую по рукам. И отскочил. И к двери шагнул. Поздно подумал: власть она имеет, сука, не простит. А она мне в спину: что?! Не хочешь?! Пнул меня, да?! Так я ж тебя так пну! Гад!

И пнула.

Дом у ней сгорел. Подожгли.

И на меня – показали.

И – в суд меня. И ничего доказать я не смог, засудили.

А во время процесса кто-то еще про парнографию капнул. Ну тут уже вообще. Все, завяжай тетески! Кина не будет, кинщик заболел!

Припаяли мне семь лет. За поджог и за парнографию вместе.

Эх, думаю, баян ты мой, баян... Музыка ты моя золотая...

Вот тебе и тюряга. Вот тебе и лагерь пионерский. Тру-ту-ту!

Работать заставляли: норма – сто рукавиц в день. А у меня получалось, едрить твою в корень, всего восемь сначала! Машина швейная такая опасная, крутит так: вжих! Вжих! Вот вот палец проткнет. Я ловчился, ловчился... Как-то стал набирать обороты... До ста рукавиц все равно дошел. Я упрямый.

За отличную работу мне срок скостили. До четырех лет. Амнистии тут пошли. Я всякие просильные письма строчил: выпустите, мол, я такой со всех сторон положительный. Я там за людьми наблюдал. И пришел к выводу: тридцать процентов за дело сидит, преступники это, тридцать – невинно маются, их всех на волю кучей выпустить надо! А тридцать процентов людишек вообще надо бы уничтожить. Не людишки это, а блядишки, а мусор, подонство, оглодки, шушера поганая. Таких матери рожают – и сразу б топить их, как котят! А еще лучше – в утробе вытравлять. Да в утробу-то как залезешь и что там, впотьмах, узнаешь? Ничего... ничего...

Всякое там бывало, в колонии. И нападали на меня! Да я отбивался. В неволе так: не поколотишь кого – тебя не зауважают. Я хоть и коротыга, а дрался будь здоров, плечищи-то у меня сильнущие! И в шахматы с гроссмейстерами там играл! Да, и гроссмейстеры в зэках ходили! И у всех выигрывал. И за выигрыш мне трое суток увольнительной дали! Как в армии! Я на улицу-то вышел – и чуть в обморок, как баба, не грянулся от потрясения: свободу аж до костей вдохнул!

В Василь вернулся – все село от меня морды вертит. Нюхаю атмосферу: что-то тут не так. Все угрюмо бычатыся, все меня то ли стыдятся, то ли тихо ненавидят. Думаю: неспроста! И точно! Нашли поджигателя. Папашка это Пашки и Петьки Охлопкова был! Охлопков старший! Ну, огрызок, думаю. Я-то отсидел, а ты тут, значит, гулял?! Лялька за меня цеплялась, к ногам моим мешком валилась, когда я ночью пошел Охлопкова бить. Пришел, кулаки об воздух чешу... а он-то, вражина, уже – мертвым посреди избы валяется... зажмурился... Пашка на меня глядит, как кролик на удава. А Петька лежит под столом, коленки к подбородку подтянул, пьяный вдрободан. У-у-у-у! Не успел я. Не успел...

А Лялька моя все никак забеременеть от меня не могла. Тринадцать раз плод скидывала. Я уж отчаялся. Уж разжениться с ней хотел. Наконец выносила! Плакала от счастья, когда в детсадике видела кроватку, а на кроватке было написано: «ВОВА ГАГАРИН»... И вырос мой Вова. В институт в городе поступил – бросил из-за девки. Женился. Родили дочку. Авторемонтную мастерскую открыл. Вроде все путем. И – водка эта проклятая, язви ее! Пить начал! Это у меня-то, непьющего, сын такой! Я тюрьму прошел, Крым и Нарым, выпить из вежливо-

сти в застоле могу, но чтоб в запой – да никогда! А мой – как завинтит, так и не вывинтишь. Лечил его. Лекарства дорогие покупал. Тайком в еду порошки подсыпал. А он из города приедет – и давай в разгул, один дружок с портвешком, другой с коньячком, третий с первачком! Один раз его чужие поймали, сильно избили, обчистили, и на берег Волги отволокли, руки-ноги связали, топить хотели. Увидел это дело Ванька Пестов, заорал благим матом и спас его! Приволок к нам в избу, всего в кроватке... Лялька ревет, мать ведь. Страдает. Сноха собирает манатки, уходит. Блажит: надоел мне этот пропойца! А Вова знай себе водяру глушит! Канистрами уже пьет, цистернами... Зубы повыпали...

Пьет и кричит над бутылкой: серая у меня судьба, батя! Се-ра-я! Серый я крыс! Мелкий! Ничтожный... Никому я не нужен на этой земле... А ведь хотел... хоте-е-е-ел!..

Ночами плачу, хоть и мужик. Да уж я старик. Скрежещу зубами последними.

Мне Лялька ночами в ухо поет солеными от слез губами: а ты, Юра, возьми и помолись! Да беда вся в том, что Бога-то вашего нет и быть не может: кому молиться? Так и выходит, по всему выходит, что человек молится несчастной, красивой выдумке своей.

Живность. Мать Иулиания

Я зверье всяко страсть люблю! Ищю в монастыре мать игуменья, Михаила, энту мою жалость к животягам разным, к птиченькам малым – знала, и не журила миня, а обратно, одобряла: где какой котик бездомный в монастырь забредет – мне несут котика, штоб я, значитца, покормила, молочка налила в мисочку фарфорову; где какой песик прибудный лапку сломат – опять жа мне пса ведут, и я, не хуже ветринара, лапоньку яму бинтую, шину накладаю... как дохтур заправскай! Воробышков, пеночек изо рта выкармливала. Жабу больну однажды – в банке держала! Спинку ей кой-то жестоко оцарапал! Я мазью заживительной мазала. Молоком ту жабу поила, стереву! Зажила спинушка. Я яе – жабищу – сама в руки брала, в траву пускала... около озера, в осоку...

Озеро то наше все было ряской, как зеленой парчой, затянуто. Иногда в нем рыба – плесь! Што за рыба то была? Карась, так думаю.

Золотой карась...

Дединька был у миня, в дярвене моей, любил на печке валяцца, косточки греть... тот говаривал: ничо не бойся и не проси, а все люди – караси. Я, малек, хихикала все: как это, люди – и караси?.. Хи-хи-хи!..

Караси-та, думаю так, лучше людей. Ну, во-первых, бессловесны! Не обидят тибя ничем! А во-вторых... Мы-то их жарим, сволочи, и хрумкам, а они нас – нет...

Всю живность прям обожаю. Без зверья жить – не могу!

И тут, у Серафима, когда стала яму хозяйничать, тут жа животяг разных развела. Не могу без их, и все! Ну, наперво коровушку завела. Чудная коровка! А уж молочна! Молока два ведра с ней надою вечером, а ищю и утрешний надой. В молоке, в твороге, в сметане – тонем. Хоть на рынок носи! Но я не ношу, а у миня так, соседки покупают, у каво коровы нет.

Коровку – Киркой назвала. Колокольчик ей на шею приделала.

Теперя, из стада когда домой идет, выменем полным над травой машет, – издаля слышать.

Потом котенка под крыльцом у Вали Однозубой нашла. Яво дика кошка родила. Ходит тут одна така, серебриста, с полосами как у тигры. А котенок – чернай как уголь! Че-о-о-орнай! Все бьют черных кошек, лупят, зачем? Они, черны, ищю лучше от хворей помогают. Ежли у тибя живот болит – на живот обязательно лягут. Ежли голова – прям на голову ложацца! Ногу тянет – на ногу взгромоздяцца. И когти запускают под кожу, и поют песню. Лечат!

Котенка смоляного Филькой назвала. Назвала, уже кличу: «Филька, Филька!» – и тут в башку мне как стукнуло: ба, да это ж вить апостольское имя, Филипп! А я яво – зверю

дала... Ну и ладно, думаю, ладно, Господь простит мне, а всяка жива тварь именем хочет наречься, штоб не безымянно под солнышком бегать...

Филька, умнай, зараз переловил всех мышей в избе! Ловит и мне приносит, к ногам кладет, ловит и приносит. Я сначала считала: раз, два, три... пять... девять... тринадцать!.. – а посла уж и перестала считать. Нет, без кошки в доме никак!

Где кот, там и кошечка прибует. Однажды утром слышаю: шорк, шорк, – когтями в дверю! Батюшка ишо для котов не прорубил тогды отверстие внизу, в двери. А кой-то шырыкацца! В дом просицца! Ну, я пошлепала, дверь открыла. Батюшка на службе был. А я в церкву не двинула, я – по хозяйству. Делов много. По воскресеньям в храм хожу. Ну, отворила... и што ж вижу? Кошечка сидит, така жалка, да уж хорошенька, трехцветна, рыжа с черным с белым, вот кака красавица, принцеса! Ну што тут делать будешь? Пустила. Умильна мордочка у ней! Усики таки... как стрелочки! Глазки блестят, круглы, как крыжовины! Вот и у Фильки женушка будет, грю, а руки сами уж ей молочка в блюде льют, эй, где ты, Филька-охламон?... глянь, жона к тебе приехала, Шурка-кошурка, встречай!..

И ведь кабыдто што понимает, дрянь така. Откуда-то – шасьт – вывернулся. Подошел к кошке, обнюхались. И замурлыкали оба, так затрещали – на Волге, должно, слыхать рыбакам!

Ну все, молодцы, грю я им, быстро спелись...

И вот вить диво. Звери уж любят так любят. Друг дружку ничем и никогда не обидют. Не наврут друг другу, не загрызут со зла. Зверья семья – не в пример людской. Господи, шепчу, Господи, и Ты вить любил всяку тварь, и Ты гладил коров по холке, лошадям корку хлебца пожевать давал, среди овец Ты, малой, в хлеве спал... Ты ж Сам видел, как звери в мире и согласие меж собой живут! И так вить – Ты исделал!

А люди, люди-то пошто так, как звери, не могут?!

Тыщи лет проходят – все не могут...

Любить – не могут...

Ой, да што ж это я... Господи, грешна. Сама учусь любить, Господи! Дык не ждала, што так трудно энто!

Ну да, вот котики у миня...

Щенка принесли. У сына Вальки Однозубой сука оценилась. Трех принесла. Валька одна щеночка, сученьку, Галине Машенковой отдала, та одна живет, ей без собаки – страшно, особливо зимними ночами, когда и волки с Засурья по льду приходят, рядышком воют. Другова – в село Монастырь, на Суру, печнику Ипполиту отнесла. Грит, Ипполит такой радый был! Щенка за уши тряс и приговаривал: обучу тебя, на дичь натаскаю, со мной будешь охотница! Кобелек. И третий тожа кобелек, Валька и призадумалась, кому ж сунуть? Я яе на улице встретила, со щенком на руках, как с робенком. Уж славненькай! Золотиста шерсть, а на лбу бела звездочка. Валька мне протягиват – я и хват! Валька щастлива. Я тоже! Собаконька у нас с батюшкой! Вот и защитник! На охоту с ней будет ходить, на рыбалку... Батюшка-то вить у нас – охотник, ружжо с собой привез... и рыбак заядлай, откуда тольки в своем городе вонючем рыбалить пристрастил?! Тайно думаю: а можа, он деревенскаяй, как и я жа...

Пса на цепь не сажала. Мясом кормила сырым, костями сахарными, на рынке у марищев покупала. Молоко от пуза лакал! Вольный пес бегал, резвился. Сперва по саду-огороду; посла и на улицу стал выбегать. Да однажды покусал соседского телка! Так, несильно, да зубки на ножке у теленка с кровью отпечаталися... Хозяйка орала на всю улицу: поп энто, собак развел, можа, и пчел ишо разведет?! Теленочка мово родного пес поповский загрыз! У суд подам!

Ну, у суд, конешно, не подала. Чево там. Все забылось.

Только я Стеньку с тех пор привязывать к будке стала. А отпускать – только когда коровы с пастьбы домой пройдут.

А уж батюшка Стеньку полюбил! Ужас как!

И обымат, и цалует, в нос прям цалует, и гладит, и чешет везде...

Да, натаскивать стал, на дичь. И на охоту уж ходили. Бекасов отец приносил. Уток жирных. И по рыбу тоже ходили. Домой идут – у Стеньки – садок в зубах! Вышагиват гордо. Вот, мол, глядите, люди, сколь я рыбы спымал!

Мине посля грит: я, грит, в армии – в собачьим питомнике, на Севере, служил... собак воспитывал, кормил их, чесал... Их, грит, собак-та, лучче солдат кормили... Витамины им все – дохтура – выверяли... А нам, солдатишкам, – перловку одну, да без мяса, мы ее, грит, проклятущу, видеть под конец службы не могли, энту шрапнель... в рот ложку покласть не смогли, до слева...

А попугая, Яшку, мне батюшка – сам подарил.

Однажды я рубила капусту тяпкой, на солнцепеке, во дворе. По осени дело было. Рублю-рублю, ломти белы в разны стороны лятят-лятят, яблоня надо мной шелестит, уже все листья сухия... и замечталася я, как-то так руку под тяпку подставила – рубанула, не глядя! – и боль адска, и штой-то белое, вроде кусок капусты, раз – в сторону, на землю, на листья палые – лятит! И шмякнулося. И гляжу, и пот по спине: эй, мать, да энто ж твой палец, пальчик твой, дура, мизинец... Отрубленной...

Даже крику из глотки не вылетело поперву. Сижу. Молчу.

Потом тяпку к глазам поднесла... На ней – кровь... моя...

И закружилася башка. И я сама – полетела куда-то. Кажись, заорала.

Очухалася оттого, што миня за плечи трясут, а в зубищи мине – кружка толкацца, об зубы звенит. И голос:

– Пей, пей! Глотай! Матушка! Очнися!

Ну, скумекала я, энто мой поп миня водичкой отпоить хочет. Видать, коньки я отбросила... разум потеряла...

Воду послушно глотаю. А он уж на колени передо мной становицца, и культю мине – чистым лоскутом перевязыват. А из раны кровища живо ткань пропитала, так и льет, так и хлещет.

– Ништо, не бойсь, Иулиания! – грит, руку ветошью заматыват. Вот уж и узел исделал. – До свадьбы – заживет!

И тут кровь вся не в рану мне бросилась – в рожу мою.

– До свадьбы? – грю. – До свадьбы?!

Так я во дворе сидела, как пьяна, как больна. С перевязанной, замотанной рукой. Сижу и двинуцца не могу, а хозяйство стоит. И мыслишек в башке – ну вот никаких. Пыль, зола...

А губешки только повторяют: до свадьбы, до свадьбы, до-свадь-бы...

И вот появилася мыслишка первая: как энто я буду без пальца на руке-то...

И вторая: привыкну...

Солнце в глаза бьет, последнее, осеннее. Уж не палит – тихо, печально ласкат. Ах ты, Господи! Лето изошло. И палец я себе отрубила. Вон она, ступка деревянна, у ног моих стоит, с недорубленной капустой!

И тут шорох за плечом. Озираюся. Поп мой шествует ко мине!

А на руке у няво – штой-то тако ярко, красно! Как флаг в Первомай! Раньше, давно...

Я думала – тряпка кака красна, думала, руку нарошно красным обмотал, штобы, значитца, миня повеселить, што ли. Нет! Энто красно – шевелится! И киват! И чем-то щелкат! А посля – ка-ак крылья раскроет! Алыя... И затрепещет ими, замашет... и жаркий ветер мине в лицо ударит, в нос...

И крик такой противнай, скрипучай:

– Яш-ша хар-роший! Яш-ша хар-роший! Яш-ша хар-роший мальч-ч-ч-чик!

Господи Боженька сил! Попугай!

– Только энтого ищо не хватало, – шепчу.

Батюшка руку с попугаем к носу моему подносит. Попугай как взмахнет крыльями! Как взовьется! И – на плечо мне перелятел! И когти в миня впустил! Я глаз скосила, не дышу. Клюв у няво – клещи железны! Вот, думаю, чем ты, паскуда, щелкашь... А глаз блестит, глаз чернай, потом ободок желтай, потом округ синий, прям чернай жемчуг в оправе!

– Красавец ты, – тихо грю яму, а у самой из глаз слезки бисером сыплюцца.

Батюшка поднял руку и перекрестил миня и попугая.

– Я купил тебе, мать, штоб ты не плакала, – сурьезно так грит. – Не будешь рыдать-та? Глянь, веселай какой кавалер! В красном мундире! Енерал попугайскай!

Я ручонку свою протянула, перевязанну, и погладила Яшку по красной башке.

– Где добыл-та яво? – спрашиваю.

Яшка голову скосил, глазом зырк-зырк – и клювом своим страшным, железным ну давай мне слезы с рожи так нежно... так осторожно... склевывать!

Ну, птица...

Слезы ищо пуще посыпались. Уж от радости, што ль?

– Дачники тут одне уезжали, – грит. – Насовсем съезжали. Я по дешевке у их укупил. Прям за три рубля. Глянь, какой парень справнай!

Я попугая с плеча взяла в руки, в ладони, как обойму яво ладоньми, крепко, и стала целовать яму спинку алую, крылушки малиновы, головку в красной шапочке, глазик в ободках самоцветных, и клюв кривой, турецкай ятаган, даже поцаловала яму, животинке, птиченьке моей, нежной, бедной, красенькой.

А батюшка на нас обоих так глядел, быдто б я целовала – во храме – икону.

Дванадесятый праздник. Введение во храм Пресвятой Богородицы

Эта маленькая Девочка... Боже мой, совсем ведь маленькая... Господи, три годика всего было Ей...

Ярко-красное платьице бархатное, с кружевным воротничком, надели родители на Нее. Туфельки со шнуровочкой. Умыли чисто. Помазали святым горячим маслом. Дали на дорожку попить из кружки парного молочка. Пух куриный ли, кошачий – с рукавов, с подола отряхнули. Чистенькая какая! Ах, на пальчик – еще рубиновое, алое колечко нацепить... и на грудку – золотую цепочку, бабушкину цепочку, пророчицы Анны...

А где старуха Анна?.. А, она уже сидит подле храма, на паперти. Водку пьет из горла... за милостынькой сухую руку тянет...

Мама, мама, ну зачем ты, ну пойдём домой, домой, мама...

Господи, Господи, что ж я брежу-то... Господи, помоги, останови мя...

Доченька, Тебя почему Марией назвали?.. Разве не Анна Ты?.. Разве не в честь бабки Твоей назвали Тебя?.. Держись за мою руку, крепче держись... Ступени у храма тяжелые... высокие... долго, долго по ним вверх взбираться... Ты задохнешься...

– Божие селение во храм святыи приводится Богородица Мариам, плотию трилетствующая, и Той свещесветят девы предтекуще... Божия Агница неблазненная, и голубица нескверная, Боговместимая скиния, славы освящение, в скинии святей обитати избрана...

Ну давай, Доченька, давай. Я держу Тебя. Бархатное платьице Свое не испачкай!.. башмачком пыльным не наступи на подол... Давай... раз-два-взяли... еще раз взяли!.. Топ, топ... все вверх и вверх...

– Непорочная Агница и нескверный чертог, в дом Божий Богородица Мариам с веселием вводится преславно, Юже ангели Божии дориносят верно, и вси вернии блажат присно, и бла-

годарственно поют Ей непрестанно велиим гласом: наша слава и спасение Ты еси, Всенепорочная!..

Все глаза в толпе глядят на нас. Как мы с Доченькой моей идем, идем по крутой лестнице вверх. Все вверх и вверх.

– Храм и Палата, и Небо одушевленное явльшиися, Богоневесто Царева, в храм законный приводима днесь, Тому соблюдаема, Пречистая.

Дитя мое! Пресветлое Дитя мое! Я ввожу Тебя во храм. Видишь, я стал священником; и я ввожу Тебя во храм Святой, потому что сегодня праздник, и, видишь, везде флаги, расшитые золотом, выкинуты, и золотые хоругви всюду навешаны, и в воздухе летят цветным снегом серпантин и конфетти, и конфеты летят из горсти, и лампы и свечи все зажжены! И на шеях, на запястьях и пальцах у людей, у рабов и господ, ярко горят самоцветы заморские, из земли Офир, из Тира и Сидона, из Дамаска и Яффы! Не ругай меня, Доченька, что я раньше Тебя в храм не привел. Я ведь не был тогда еще священником. А теперь, видишь, родная, я – священник, и храм – мой дом, и давай поднимемся по крутой лестнице, давай в Дом наш войдем...

– Иоакиме и Анно веселитесь ныне, во храм приводяще Господень Чистую Бога Матерь Христа Всецаря будущую, от вас же рождшуюся, яко трилетствующую Юницу...

Доченька... не надо плакать...

«Папа, это я от радости!..»

– Гляди-ка, Люська, у батюшки глаза как свечи, – слышу я шепот Дорочки Преловской, летящий ко мне воробьем от самого клироса.

Глава третья

Алтарная стена. Конха

Полукруг. Полусфера.
Золотой мозаики нет у меня, чтобы выложить ею эту чистую белую
стену.
Золотые пчелы, медная разменная монета смальты стеклянной...
Мечта...
Я работал малярной кистью по сырой известке,
и терпко пахла яркая, соленая темпера.

Богоматерь стоит в полный рост.
У Нее грудь большая под складками.
Она – кормящая Мать.

Она поднимает обе руки над головою.
Поднимает над нами.
Поднимает над Мiром.

У Нее большие круглые глаза,
круглые как блюда,
из которых пьют крестьяне чай по вечерам
с малиновым, жарким вареньем.

Нет: они от ужаса круглы,
Что видит Она внизу, на Земле.

...красно-желтые складки, тяжелые, падают, льются, кровавые.
Руки воздела высоко; глядишь со славою.
Ярко-голубая – небом среди туч грозowych – на груди – повязка
светится.
Каждый живой с Тобой когда-нибудь встретится.
Когда?! А когда умирать будет, кончатся, Матушка!
Когда вся Земля в костлявых пальцах станет не больше катышка,
Не боле круглого, черного, жалкого помета козьего...
Ветр на ледяной фреске нагло играет Твоими волосьями.
Ты их, Мать, под белый снежный плат – не спрятала.
Ты, Мать, утку на двор загнала, что больно громко крякала!
Ты коров загнала в стойло, подоила в подойничек —
Синее небесное Молоко испробуй, покойничек...
Отпробуй, живущий, еще живой,
Райского твoroжку да Эдемской сметаночки —
Грядет зима, и снаряжены уж лебеди-саночки,
Уж Мать вздернула руки вверх,
о пощаде под черным дулом прося, о жалости —

Не стреляй, солдат!.. ты же мой сын!..
Мать тебя просит о самой малости...
О крохе жизни... о глотке Ея одном...
об Ея корочке зажаренной...
Не стреляй!.. я готова быть униженной, ударенной...
Мать – от дитя Своего – все снесет...
все вытерпит... лишь не убий Мя, чадо Мое...
В избе бревна сгнили давно... да и печь старая, чадная...
Да чугуны черные пусты... да забор беззубый скалится...
О, земля Моя, Мати! Великая Ты еси страдалица!
Стою. Плащ багряный тяжел. Закатом заречным подол густо
вышит. Стопы мои
из-под подола торчат, грязны да смуглы. Комары толпами
Над головою висят. Сыро. Рядом река.
Пахнет рыбой и медом, сухими травами.
Сыне Мой! Каждый, на земле, Сыне Мой! Каждая – Дочь Моя!
Плащаница Моя кровавая!
Гиматион Мой порфирный!
Хитон Мой пурпурный! Рубаха моя небесная!
Руки Мои – ладонями – к Детям!
Ступня Моя бестелесная!
Жизнь Моя последняя!
Любовь Моя бесконечная!
Любовь Моя старая, седая, суровая, нищая, голодная, калечная...
Любовь Моя – юная! Золотая!
Радость Моя звездная! Счастье великое!
Сыны Мои! Смотрите на Меня из сожженной тьмы золотыми
ликами!
А Я над вами ладони воздыму!
Я все прощу вам – смерть и искушение!
Складками алого плаща обниму вас: во память, во утешение!
Я старая ваша Мать! Я Заступница ваша ветхая!
...Умру – обложите Меня в гробу еловыми ветками.
Я молодая навек! Я Царица ваша босая, белозубая, юная!
...Умру – воспойте хвалу Мне, осанну лесную еловыми,
сосновыми струнами.
Положите Меня во гроб сосновый —
да вот так же, как стояла Я с воздетыми
Руками... с непокрытым лбом...
с санными косами, солнцем согретыми...
Это тело Мое во гробе лежит. А Я – вот Я!
Руки над Мiром раскинула!

Не стреляй, сынок Мой.
Я для тебя – Твоего Бога родила.
Сердце Свое для тебя из груди вынула.
И так под пулями, пчелами золотыми, стою, Великая Мать,
неуязвимая, —
Красная земля, синяя вода, ледяная звезда, Купина Неопалимая.

Дочь умирает. Анна

Папичка, ты поближе ко мне, да?.. Папинька, ты... не блосай луку!.. нет!.. да... вот так... Папка, ты что болмочешь там?.. Я не слышу. Ты – гломче!..
Анночка, я слышу, ты говоришь: Анночка!.. Я люблю, когда ты так... меня...
Анна – у-у-у-у!.. это колабль в холодном моле плывет...
А Анночка: это – чилик-чик-чик!.. – птичка на веточке поет...
А-а-а-а!.. Нет, нет... Не-е-ет...
Ты только не уходи...
Папичка, лодненький, ты... Клепче лучку мою сожми, клепче!.. чтобы я чувствовала... те-бя...
Звон!.. слышишь!.. Это я... пузырьек... на пол... улонила...
В целкви звонят, ты сказал?.. Где?.. В какой целкви?.. Лазве лядом с нами есть целковь?.. Целковь же далеко, далеко-о-о-о-о... Челез целых тли улицы... Там если зазвонят – мы не услышим... никогда...
Папулечка!.. а!.. очень больно. Я не могу телпеть эту боль! Плижмись ко мне лицом... вот так... оно у тебя все моклое... ты мне щечку слезками измочил всю... Что ты все влемя шепчешь?.. Ты... молитву?.. А что такое – молитва?.. Ты – за меня – молишься?.. А что такое – молиться?..
Папа-а-а-а-а!..
Зачем ты кличишь: укол, еще укол! Не надо больше уколов! Никогда. Я больше не хочу их! Я хочу... тишины... Плосто чтобы было тихо... и никто меня больше... не укалывал...
...тише, тише... Я вижу – белая птичка на делеве, и поет-поет... Папуля, обними меня клепко-клепко... так, чтобы я вдохнула – и не выдохнула... а то мне очень стлашно... и больно...

Смерть, женитьба, измена и опять смерть. Серафим

Белые, сахарные слоники все идут по диванной желтой полке...
Потом бабушка переставила их на комод.
Потом бабушке повысили пенсию, и она сделала нам царский подарок – купила телевизор. Сама крестилась: фу, голубой этот экран – дьявольный!.. – и бормотала: ну, вы, молодые, девчонки-парнишки, не только ж читать из книжки, глядишь, и позырите чего, новости скажут или еще чего... фильму, концерту покажут...
Фильму... концерту...
Тогда по телевизору и оперы показывали, и спектакли. Московские. Наше, городское телевидение только начинало работу. Робкие новости; в маленьком, жалком, как дырка в нужнике, экранчике – бодряцкая рожа диктора, гладко выбритая. «Наши доярки выполнили-пере-выполнили!.. Наши механизаторы выполнили досрочно!..»
Все планировалось; и все выполнялось досрочно.
Страна была сильна, мощна, бодра и сама перед собой выслуживалась.
Народ владел всем. Или это один народ владел другим народом?
Мать, придвинув табурет поближе, садилась и тарачилась в экран – она все хуже видела, а очков не носила. Телевизор исторгал веселые вопли и хоровые крики. Сестры бесились, тянулись вверх, груди их наливались, зады ширели, они невестились, им надо было парней сильных – и рожать, – а замуж никто не брал, и кавалеров не было. Злились. К экзаменам готовились – книжки швыряли. То в меня, то об стенку. Орали. Злобно орали.

Я думал: сколько злобы может храниться в человеке? И где она прячется?

Бабушка гасла день ото дня. Ждали ее кончины.

Но не верили, что ее жизнь оборвется. Обманывали себя и ее. Весело приговаривали: ты, бабушка, у нас святая старушка! Ты – законсервировалась! Ты у нас долгожитель, до ста пятидесяти жить будешь!

Что ввали? Зачем ввали?

А – люди врут, и себе и другим, всегда врут. Чтобы легче жить было. Чтобы – не так сильно смерти бояться.

И каждый втайне думает: все умрут, а вот я-то, я-то – бессмертен.

После двух лет армии, – отслужил я на Северном Урале, в Ивделе, и приставили там меня к собакам, ухаживать за овчарками в питомнике близ северного лагеря, заполярной колонии строгого режима, – ах, собачки мои, собачки-красавицы!.. только лай ваш звонкий в ушах и остался, завяз... – начал я учиться в университете, на физическом факультете, с математикой и физикой у меня всегда было в школе хорошо, даже очень хорошо; я решал задачи и доказывал теоремы так легко, будто кто мне диктовал решения, веером разворачивал доказательства.

Учиться начал, и хорошо дело пошло, да не закончил.

Я женился.

Женился рано и поспешно, так не женятся. Так только отчаянные циркачи сдуру прыгают из-под купола в бездну без лонжи; пловцы бесшабашные в омут – вниз головой, в водоворот.

О, я сумасшедший был! Молоденький петушок! Девчонка понравилась, с ходу, с лету. Цап!

Или это она меня цапнула? Оцарапала коготками... Кошечка черненькая... Шестнадцать лет, только из школы выпрыгнула...

Через три месяца она выкрасила смоляные коски перекисью водорода – в мертвый белый цвет.

Через четыре – напилась первый раз, до бесчувствия.

Через полгода, беременная от меня, она изменила мне первый раз. С моим другом.

Через год она родила мне дочку.

Анной назвали.

Верочка – так мою жену звали – пить не прекратила после рождения дочки. И гулять тоже. Ох и гуляла она! Стены стонали! Мать моя, Матрена Ильинична, только морщилась, страдая. А Верочка и маманю в пьянство вворачивала. Так и не просыхали они, обе, бедные мои, старая и молодая. Анночка орала, как резаная, в колыбельке. Верочка раздевалась догола и перед пьяными автозаводскими подругами танцевала на столе, пинала чашки, рюмки, бутылки, они летели на пол и разбивались, и младенец плакал еще громче. Мать кричала мне, сквозь крики и визги пьяных девок: «И как ты все это ей позволяешь?!» Верочка обнимала мать за кривую, высохшую как корень шею, выталкивала неслышным языком: «Борь-рь-рь-ка... Пак-корми Аньку!..»

И подносила к впалому, уже старческому рту матери до краев налитый ртутным зельем граненый наш, деревенский стакан.

«Кормящий отец», – шептал я сам себе, Анночка лежала у меня на локте, я совал ей в губки грубую толстую резиновую соску, и уменьшалось, убывало в бутылочке метельно-белое молоко.

Молоко я сам брал в раздатке, рядом с домом. И кефир тоже. И выкармливал Анну, как мог, сам.

Потому что в доме творилось невообразимое. Я даже не знал, что со мной так в жизни будет.

Верочка была хорошенькая, как куколка. От алкоголя ее молоденькое кукольное личико краснело, краснели веки, грубо алели, как надраенные наждачкой, свежие круглые щеки. Огромные серые глаза сочились юным презрением к жизни и тайной, жестокой жадностью к ней. К ее удовольствиям. К ее наслаждениям.

Сейчас я могу сказать: да, к ее грехам. К ее сладким, винно-алым, грудастым, задастым грехам!

Плоть. Это не Плоть Христова. Не Его Кровь.

Это жадная плоть быстротечной жизни, и падкий на земную сладость человек жадно, оголтело поглощает ее, стремится урвать, угрызть кусок, еще один, еще, пока не отняли.

Пока не затолкали в глотку – лопатой – земли сырой черный ломоть.

Верочка пила, глотала сладкое людское вино, в грех вводящее, горькую человеческую водку, в преступление окунающую. Ела – сосала – жрала – грызла, хохоча, хитро подмигивая кому-то невидимому, сладкую, в подливке, в соусах, в перцах-приправах человеческую пищу, которая из священной еды становилась просто – в ее дрожащих пальцах и намазанном яркой помадой рту – поганой жратвой, дымящейся хавкой. Она выпивала полбутылки водки, которую почему-то называла железным словом «коленвал», и заедала пирогом с мясом-с луком, купленным в кулинарии напротив, а мне казалось – она пьет дымящийся яд, она ест пирог с человеческой. Верочка, уже брюхатая, переспала с моим другом, с соседом моим, Валерой Гончаровым, а у Валеры Гончарова жена ведь была, Милка, так им вдвоем плевать было, что у нее – муж, у него – жена: я однажды шел по коридору, услышал из подсобки, где хранились инструменты слесарные, охи и ахи, все понял сразу, дверь рванул на себя – а они даже не закрылись, так с открытой дверью и обнимались. Я на всю жизнь запомнил Верочкин красный, высунутый из зубов наружу, как у овчарки из пасти, дымящийся, влажный язык. И все десять пальцев Гончарова, впившиеся в круглый нагой Верочкин юный задик.

Семнадцать лет. Ей было всего семнадцать лет.

А мне было двадцать два, и я учился на втором курсе университета. И, войдя из коридора в квартиру, лег, не разуваюсь, на кровать, и плакал горько.

И горько, горько в кроватке своей, в колыбельке, в которой мать мою еще в деревне младенчиком качали, выращивали, плакала моя дочка, бедная Анна моя.

Компании, гулянки, девки новые, мне неизвестные, парни стриженные налысо и лохматые, как собаки, с татуировками на запястьях, на фалангах пальцев, в виде синих перстней... где она их подбирала? Подобное льнет к подобному. Плохое липнет к плохому. Зачем Верочка так жила? Такой она была рождена? Или такой сделали ее? Кто? Я не знал. Я ничего не знал. Я видел: она спит и с мальчиками, и с девочками, я видел, как нежно, ласково ее пьяные пальцы мнут, гладят грудь новой хмельной подружки под расстегнутой кофточкой, под грязным кружевом, – никогда так нежно и доверчиво она не ласкала меня.

Когда я с ней был, ночью, в постели, она пусто, бездумно и тоскливо смотрела в потолок. Отворачивала от меня лицо, пахнущее перегаром. И я читал по колючим письменам смоляных смеженных ресниц: «Кончай скорее, надоело».

Потом она засыпала и храпела, как мужик, оглушительно.

А я вставал к ребенку. Анна возилась, кряхтела, тонко всплакивала, будто влаивал щеночек. Она и была моим щеночком – бедным, кудлатым, молочным, беспомощным, и его надо было мыть, подтирать за ним, кормить чем Бог пошлет, лишь бы кормить. Лишь бы – жил, выжил щеник мой. Когда еды совсем не было – Верочка спокойно могла пропить все семейные деньги, деньгами распорядилась она, ведь она была мне еще жена и вроде как хозяйка, – я чистил картошку, лез в погреб за ней, заползал рукой в мешок, картошку я сам запасал на всю

зиму, каждую осень, чистил и варил, а потом делал Анночке пюре на воде, и чуть подслащивал и подсаливал, и в это пюре крошил черствый ржаной хлеб, и так, перемешав нищую тюрю, давал ей с ложечки. И ела она, а я улыбался и плакал.

И сестры мои называли меня идиотом; и мать моя, работая на заводе, так и продолжала во дни церковных праздников просить милостыню у Карповской церкви, у ее белых стен и деревянных ворот.

И приходил к нам иногда Верочкин отец, лысый старик, без левой руки, и я глядел на его пустой рукав, конец рукава он заталкивал в карман, – ее отец, тесть мой, ничего не говорил, молчал, садился за стол, вынимал из кармана початую бутылку; и я пил вместе с ним жгучую водку, мы пили не из рюмок – из битых старых чашек, что наспех находил я в буфете. И я молчал, ничего не говорил. И вокруг нас молчали разбросанные в угаре попойки вещи, лифчики и туфли, тарелки и рюмки, соски и сигареты.

И, не выдержав, я бросил учебу, потому что после бессонных ночей, когда Верочку рвало фонтаном, а я держал ее поперек живота, как кота, а потом убирал за нею блевотину ее, как за больной собакой, за плохой овчаркой в моем питомнике, а потом снова тетешкал, укачивал на руках плачущую Анночку, ходил-ходил с ней по комнате, до одурения, а ребенок все плакал надсадно, а я сам превращался в сонного младенца, и я это я засыпал на руках у Анны, а не она у меня, – после таких ночей не мог я ни одной задачи решить, и декан факультета, вызвав меня к себе, долго, строго смотрел на меня, а потом сказал: «Жаль. Талантливый вы человек, Полянский. Жаль. Очень жаль».

И больше ничего не сказал.

Я сам написал заявление. Приказ об исключении состряпали быстро. На мое место было уже десять желающих.

Так я оказался на улице. Недоучка. С женой, и без жены. С матерью-нищенкой.

С ребеночком моим на руках.

Дочка! Радость моя! Солнце мое! Сквозь тучи...

Вот ты есть у меня; а что бы я делал, если бы тебя не было?

Продолжение рода, продолжение рода... Плодитесь... и размножайтесь...

К чему... зачем...

Так надо.

Закон.

Бабушка моя, Марфа, умерла, когда жена моя, Верочка, задумала уйти от меня, дочку мою, Анну, взявши на руки и собравши в дорогу, к новой жизни, маленький, еще военный, деда моего, Ильи Семеныча, вишневым чемодан.

Я видел, как она чемодан собирала, но не догадался, что к чему.

А вечером Верочка, удивительно трезвая, тихая, ко мне подходит и говорит мне, губы свои к уху моему вытянув трубочкой, тоже очень тихо:

– Боря, я от тебя ухожу. К другому. Благослови меня.

Так и сказала: «благослови».

– Благословить? – глупо выдавил я. И глупо, растерянно улыбнулся.

И глаза мои, уже бешеные, безумные, сами стрельнули вбок, скосились на кровать, где тихо спала наша дочка, Анночка.

– Да. Благослови, – тихо и твердо, как-то железно сказала жена. – Я хочу, чтобы ты меня благословил. Чтобы все было по-хорошему.

Я видел: лицо ее свело, как от кислоты, от лимона, так ей захотелось внезапно и жалко заплакать.

Но не заплакала. Не унизилась предо мной. Наоборот, зубы показала. Улыбка? Оскал?

– На зверька ты похожа, – я ей сказал. Сердце в ребрах билось мучительно. – Зверек ты, Верочка, а еще не человек. Куда ты? А как же Анночка?

Я не посмел сказать: «Оставь, отдай ее мне».

Я понимал – она мать, и у нее право.

– Дочь я с собой заберу. – Голос погрубел, лихую водкой заблестели минуту назад еще нежные светлые глаза. – Ну? Благословишь?

– Я не священник, – тихо сказал я.

– Понятно, – сказала она.

Наклонилась над колыбелькой; Анну из колыбели вынула. Прижала к себе.

Я смотрел, как от меня уносят моего ребенка.

– Кто он? – сказал я жене в спину. – Он хоть хороший человек?

– Он ждет меня перед домом, в машине, – бросила она, не оборачиваясь, и подхватила военный дедов чемодан, и голос ее ударился глухо о стены, оклеенные старыми газетами. – Он меня любит. У нас будет хорошая жизнь. Хорошая.

Я стоял недвижно. Я превратился в железный столб. Я ни о чем не думал и ничего не чувствовал. Верочка ногой открыла дверь и вышла.

Я пролежал всю ночь, глядя в потолок.

К утру вместо потолка я увидел крошечную тьму.

Тьма обступила меня, обняла всего. Она обняла меня, как жена. И я испугался ее. И я понял: тьма близко, очень близко. Рядом.

И я позволил страху своему идти дальше, пройти сквозь меня, поглотить меня целиком, всего, до крохи. До косточки последней.

И раздался троекратный стук: стук! стук! стук! – будто кто костылем стучал в пол, каблуком военного сапога, или в дверь – железным кулаком.

И тьма залила меня, как стакан заливают темным, последним вином, и перелилась через край, и я перестал быть.

А утром вспыхнул под куполом ослепительный свет, и голос сказал во мне: «Ты умер», – а голос снаружи, отчаянный, родной, прокричал, провыл дико, заполошно:

– Мамка-а-а-а! Мамка-а-а-а!

Это кричала моя мать.

И еще голос старшей сестры, Валентины, я услышал:

– Мам, ну че ты вопишь, ну че ты, ведь она ж уже старенькая была, ведь ей уже время... время пришло, ну че ты, ну...

– Нет, врешь, ты не умер, ты живой, – сказал я себе зло, пружинисто, сквозь зубы, – это бабушка умерла, слышишь, это бабушка умерла.

Она умерла незаметно, блаженно. Приготовила нам с вечера обед, прилегла отдохнуть. Сложила руки на груди. Я вошел к ней в комнатенку, чтобы выключить ей свет, и еще видел, как она шевелила иссохшими губами – молилась. Я почувствовал приближение смерти. Часы громко тикали, громче обычного.

Смерть пришла ночью.

Я думал – за мной. А оказалось – за ней.

И я это понял, когда подошел к ней. Хотел сказать: бабушка, вставай, сейчас завтракать будем!.. – а вместо этого рука моя сама протянулась и закрыла ей светлые, в невидимое светлое небо глядящие глаза.

Это было Седьмое ноября, и обед, ею приготовленный вечером, был праздничный – холодец из свиных ножек, пельмени и пирог с повидлом.

На улице трясла белыми косами старуха-метель, и развевались красные флаги.

Мы хоронили бабушку Марфу на кладбище в Вязовке, далеко от города, в безлюдных, тоскливых полях. Под серыми небесами гулял широкий серый ветер. Поздняя осень, или ранняя зима, все равно, и сырая, еще вчера теплая земля уже жесткими комьями застывала на первом, жгучем и остром морозе, трескалась, как вспоротая ножом ледокола старая льдина.

Хоронили мы бабушку плохо, тяжело. Денег опять не было. Мать снова работала на заводе «Красная Этна», мечтала, чтобы взяли на Автозавод, хоть последней поломойкой, там побольше зарплату платили, – не брали, все места рабочие были забиты. Наскребли кое-как на гроб, на венок. На автобус до кладбища, на могильщиков и на поминки уже не хватило.

До Вязовки бабушку мы везли на санках. То сестры впрягались, то я с матерью, попеременно. Снег колючими клювами клевал маленький, как у ребенка, гроб. Мне казалось – мы и правда хороним ребенка.

Когда дотянули санки до кладбища – у ворот нас встретили слегка пьяные могильщики, человек трое или четверо, не помню. Они курили жадно, будто пили дым, и щелчками отшвыривали окурки в свежий, утренний снег.

– Че, товарищи? – сквозь зубы спросил один, парень молодой. – Жмура приволокли?

Мать прищурилась. Чтобы слезы из глаз не вытекали.

– Да...

– Робенок там? – кивнул на гроб мужик постарше. Черные его, небритые щеки дрогнули, как серый холодец.

– Мамушка, – выдавила мать, скрючилась и отвернулась.

Могильщики переглянулись. Я, сквозь туман и мороз, услышал голоса:

– Ну чево там...

– Видишь, денег у ребят ни копыя...

– Поможем... Ништяк... Давай...

Выкопали яму. Закурили, опять жадно, грязными руками.

– Че, совсем нету мелочишки? Даже на рюмашку? – спросил тот, что был старше всех, старик уже, в рыболовной сетке резких морщин.

Мать выгребла из карманов все, что было. Медь и гривенники.

Они лежали у нее на ладони, как рыба чешуя.

Мать протянула мелочь могильщикам.

И они заглянули матери в ладонь – и отпрянули, и застыдились.

– Ну-у-у, мать, – сказал парнишка, сдвинул вязаную шапчонку на затылок. – Ну, мать, што ж это, а... Мы што, тебя грабить будем? Мы же видим прекрасно...

«Видим, что вы нищие», – так хотел он сказать.

– Возьмите, – упрямо сказала мать. Рыбы, широкие губы ее дрыгались.

Мужики переглянулись. Старик полез себе в карман. И выгреб все, что там у него было. Мятые пятерки, жатые рублевки; розовые, с Лениным, червонцы, даже два лиловых, чернильных четвертака в куче промелькнули.

– Вот, возьми, мать, – сурово глянул прямо ей в лицо старик.

Мать попятилась.

Старик могильщик, не дожидаясь, пока мать возьмет деньги, грубо засунул ей всю кучу за пазуху, за лацкан потертого, изодранного котами, изношенного на заводах, залатанного на локтях, отсиженного на церковной паперти, старого пальто.

Это пальто когда-то давно сшила матери покойная бабушка, на нашей старой, черной с золотым сказочным узором, машинке «ЗИНГЕР».

Бабушка была отличной портнихой. Но заказов никогда не брала. Только на семью шила. Тряпку к тряпке прикидывала, кроила, сплетала.

Мать прижала руки к груди, там, где шуршала куча кладбищенских денег, и лицо ее сжилось для плача, но слезы не потекли – слез уже не было, вытекли все.

Заплакал я.

Сестры тупо, тоскливо переминались тупоносыми сапожками на грязном снегу.

Более щедрой милостыни я никогда не видел.

И сам такой – никогда не подавал.

Боже, милостив буди мне, грешному.

Ветер рвал шапки с голов, вертел и завивал треугольники траурных платков и кисти чернильных шарфов, жадными пальцами рылся в меховых воротниках. Люди кутались в свою жалкую одежду, а все равно были как нагие. Под глазом лютого холода мы все нагие, подумал я тогда, мы все, голые и безумные, живем в открытом Космосе, а где же спасение? Где тепло, где свет и радость?

Люди, чужие люди ходили по кладбищу. Хоронили родных. Утирали лица черными платками. Рыдали. Молчали. Люди исполняли древний погребальный обряд, так было всегда, так будет. И – ничего не изменить? Никогда? Никому?

Я стоял, опустив руки. Я был бессилен помочь.

Смерть, царица, Великая Старуха, была сильнее и мощнее всех нас. Она глядела на нас из-под серых рваных небес и смеялась беззубыми страшными деснами.

Гроб уже опускали на отсыревших полотенцах и на желтых ремнях в зев могилы, и будто оттуда, из ямы – а может, сверху, с небес? – услышал я бабушкин тихий голос:

«Тепло, Боренька мой, внучек родной, жизнь и свет, солнце и свет и радость, и все упование, и все прошлое, и все будущее – среди огней, Боречка, среди ясных, живых огней! На земле огни те в церкви горят! А на небесах... Небеса-то сами – сплошной свет, звезды сияющие! Знаешь, как Серафимушко наш Саровский говорил? Он учил так: вначале был Огонь, и все в Огонь вернется! Огонь – это Свет. Свет – это Господь! Не плачь! Он взял меня к себе. Он взял меня – в Свет, и я сияю и смеюсь! А это тело мое только закапывают, тело мое жалкое! Ты ж видел, дитяtko, как бабочка вылезает из куколki. Вот я – бабочка! Вот я – вылетела! Не плачь!»

Я сжал локоть матери. Залатанный локоть старого пальто. Она стояла, глядела в могилу, в глубокую, рыжую, глинистую яму, и бесслезно редела, как зверь, в голос.

– Борька-а-а-а-а!.. Борька-а-а-а-а... Валька-а-а-а-а... Мамка-а-а-а-а...

– Мама, не плачь. Она так сказала – не плачь.

Я присел на корточки и взял в руку холодный, железный ком земли. И толкнул матери в руку.

И она бросила комок плоти нищей, клочок жестокого, жесткого мира, то тепло, что стало навек – или на миг – железной гирей, ледяною смертью – вниз, в бездну. И железная земля ударилась о зимнее дерево. О прокаленные морозом доски.

И будто вылетел из ямы, вверх, отвесно, ком огня, сноп лучей, и ударил ответно – ярко, жарко! – мне в грудь, отвердевшую, дощатую, наспех сколоченную, утлую лодку, сработанную, чтобы жизнь быстро переплыть, – и ребра мои разошлись, и впустил я в себя Свет, и стоял около могилы, и улыбался, – и мать и сестры смотрели на меня, как на тронутого, на чокнутого.

А я – около бабушкиной глинистой могилы – стоял, сиял, как царский младенец в снежно-белых пеленах. Я родился.

Я здесь, на кладбище осеннем, морозном, только что родился.

Я понял: вот я умер и воскрес, вот я был никем – и вот я младенец, я наконец явился на белый свет! Я что-то важное, в один миг, понял про жизнь и смерть.

– Совсем после ухода Верки спятил, дурачок наш, – сказала младшая сестра, Марина, и плюнула на мерзлую землю. – Ни дна бы ей ни покрывки, блядине. Бросила такого хорошего парня.

– Правильно сделала! Не было у них жизни все равно, – мертвыми белыми губами сказала мать.

– Все режут, а ты улыбаешься. Сердца в тебе нет! – бросила старшая, Валя.

И наклонилась, будто копала картошку; и тоже швырнула ком стылой земли на опущенный глубоко в землю, обитый черным крепом гроб.

Могильщики охлопали лопатами свежий земляной холм. Снова покурили в сторонке. Помолчали. Ушли.

Мы все стояли у могилы. Долго стояли. Не помню. Да, долго.

Верочка пришла обратно ровно через сорок дней.

Ровно через сорок дней она, с ребенком на руках, но без дедова чемодана, вернулась ко мне.

Следов побоев не было на ее теле. Следов слез не было на ее лице. Она переступила порог – и повалилась передо мной на колени. А я только что пришел с работы. Я устроился работать грузчиком в порту. Деньги платили, как день отработаешь. Начальник давал бригадиру, бригадир раздавал.

Она упала на колени и выпустила дочку, как птицу, из рук. И девочка пошла по полу, пошла, сама, первый раз при мне, нетвердыми, мягкими, невесомыми, неуклюжими шажками, так идет медвежонок к молочному боку бурой мамки, так идет... снег с небес...

Анночка сделала пять, шесть шажков и весело повалилась на пол.

Так они лежали передо мной на полу: Верочка – на коленях, дочка – на животе.

Верочка молчала, а дочка смеялась беззубо.

– Примешь меня? – сказала она и тоже улыбнулась.

И тут я увидел, что у нее нет глазного зуба.

– Я очень устал, – сказал я. И вытер ладонью лицо, как тряпкой. – Это он выбил тебе зуб?

– Нет. – Жена смотрела прямо в лицо мне, не моргая. – Вырвали. Болел очень. Так примешь?

Я встал из-за стола. На столе лежал мой ужин: две чищенных вареных картошки, порезанная на кусочки бочковая селедка, нарезанный толстыми кусками ржаной. В чашке дымился горячий чай. Сахара не было. Варенье все гости на гулянках съели.

Я шагнул к Верочке, просунул руки ей под мышки и поднял с пола. Посадил на стул. Придвинул к ней еду – хлеб, чай, селедку. Потом подхватил с пола Анну и усадил жене на колени.

– Ешь, – у меня перехватило горло. – Ешь! Будем жить, как будто ничего и не было.

И тогда жена моя заплакала, склонилась неловко и поцеловала мне руку.

И я отдернул руку, как от огня.

Верочка не перестала пить. Не перестала мне изменять.

Просто я старался всего этого не видеть.

Я делал вид, будто я слепой; будто все это так и надо.

У жены была своя жизнь. У меня – своя.

Я наливал горячую ванну ее грязным, только из горячего заводского цеха, друзьям и подругам; выслушивал их веселые матюги; кипятил и заваривал им крепкий чай; мыл за ними полы, убирал со стола пепельницы и пустые консервные банки, набитые окурками, когда они наутро выкатывались из дома. «Борька, ты у меня кто? Святой, что ли?!» – хохотала Верочка,

с сигаретой в углу рта, и ее белоснежные кукольные зубки, с безобразной черной дырой сбоку, сверкали в меня зимней, ночной метелью.

Я работал, и она пыталась тоже работать, но ее отовсюду выгоняли. Не терпели пьянства.

Сестры повыходили замуж, и мы жили вчетвером в материнской квартире: Верочка, дочка, я и мать.

Жили, как многие живут. Как – все живут.

Но я-то, я-то был уже по-иному на свет рожденный; я видел, чувствовал Свет, я хотел в Свет, как хотят вернуться в брошенный дом.

Но я еще не знал, не понимал, как это сделать. Куда идти.

А потом заболела дочка.

А потом она умерла.

Рассказ о жизни: Николай-Дай-Водки

А что они меня все так кличут: Дай-Водки! Дай-Водки! Дай-дай-дай...

Дак ведь и верно кличут. Дай мне водки, ну дай, дай! Бесплатно дай! Ты богатый, а я бедный и поддатый. Мне надоть кирнуть – и на печечке уснуть!.. Что, складно говорю? Дак я ж таковский! Я – умею. Я стих сложу и не чихну! Я – вензеля языком плету! Меня слышно за версту! Меня раньше на свадьбы все брали. Кликали: эй, Николай, иди-иди, поиграй-погуди, нас повесели! Песню мне заказывали, и я на заказ пел. К примеру, вопят мне: давай про разбойника Галаню! – и я тут же завожу:

– Эй, э-э-э-эй, разбойник ты Галаня!
В темну ночь родила тебя маманя.
Ты на стругах да на расшивах плавал,
На купцов ты жирных нападавал!
В сердце ты из лука им стрелял!
Ах, попала в сердце то Галанина стрела —
А то не купчик, а то дочь ево была!
Ах ты девка красна, што ж я совершил —
Я ж тебя, красавица, да до смерти убил...
А вокруг струга моево Волга-матушка шумит,
А по тебе, красавка,
сердце-то мое разбойничье болит!
Обниму тебя, холодну, и вдвоем
Мы на дно любимой Волги-матушки... пойдем!

Все плачут и хлопают в ладоши после песни. Удивляются: как это ты, Николай, так складно и красиво поешь?! Черт поючий у тебя под ребром сидит, это верно! И наливают мне, и по полненькой, и по рюмочке, и еще по единой, и по стаканчику, и по фужерчику! Свадьбы те меня и сгубили. Упивался я на них всласть. А потом без водки смертно тосковал. Хоть волком вой, как тосковал!

Дай водки! Ну слушай, друг, у тебя ж в кармане звенит, я же слышу! Слышу, слышу! Звон монет... Раскошешься! Не ври, что денег нет! А я тебе песенку спою! Хорошую. Я – умею! Это кто-то за меня поет, когда я пою... кто-то губами моими – двигает... а я только рот разеваю да голоса поддаю...

Про что тебе спеть? Давай про себя спою? Про то, как у меня жену на кладбище васильском четверо насильничали? А она потом – там же, прямо на могиле – и удавилась... рубаху

на себе на лоскуты разодрала – петлю на крест накинула – и удавилась... Или лучше про то, как я крышу оцинкованным металлом клал соседу, зверю-Охлопкову – и с крыши навернулся, и ногу сломал, и с горя напился не водки, нет, денег не было у меня, – тормозную жидкость с водой намешал, и – дерябнул... И – ослеп... Ну, не совсем ослеп, а так, помучился малость, в воротынской больничке, спасибо, выходили... отошел... А может, про то, как ко мне в избу грабители залезли, а брать-то у меня совсем нечего, ну вот совсем нечего, совсем... они и обозлились, остервенели, и со зла меня в бок живой ножницами натыкали, на кровищу мою жадно глядели рыбьими зенками, а потом уютюг включили – и к голым пяткам мне приставляли... Я вонь эту, горелым, до смерти не забуду... И вой свой, во-о-о-о-ой... Ах вы разбойники, далеко до вас Галане... А я – молюсь, молюсь за ваши черные души, молюсь по пьяни...

Слышь, ты! Ну ведь душа у тебя есть! Дай мне водки. Дай-водки-дай-водки-дай-водки-дай-водки! Щас спою-у-у-у-у...

Остров Телячий. Настя

Было такое раннее утро. Раннее, раннее...

Звезды только что начали таять. Небо еще синело по-ночному, лишь с края, где восход, слабо так розовело. И легкие облачка, такие легкие!.. – ну просто как цыплячий пушок, куриные перышки...

Я сладко спала, но что-то меня будто толкнуло в бок. И я открыла глаза.

Окно в спальне было распахнуто, я всегда летом сплю с открытым окном, иначе в избе у нас задохнуться можно, как жарко! Прямо в сад открыто. Мамка когда умерла, тятка плакал и причитал: на кого сад ты мне оставила, женка, на кого?!.. вот вырублю, вырублю!.. Не вырубил. Сохранил. Мы вместе с тяткой за деревьями ухаживали. Я по весне секатором ветки сухие срезала, кусты малины подвязывала. Тятя спиливал старые яблони, мастерил подпорки для слив, а сливы-то у нас – эх, какие крупные! Сорт такой особый, «Русский персик» называется. А сладкие! Персик просто отдыхает. Сине-розовые, вот как рассветное небо... с пережабинкой...

Открыла я глаза. Почувствовала что-то.

За окном всю пели птицы. Утро! Лето!

И свистнула громче всех одна птица. И еще свистнула. И еще. И еще.

Чистый такой свист. Вроде бы... и не птичий...

Я вскочила, в ночной рубаше, подошла, шатаясь со сна, к окошку.

Свежие, ярко-зеленые листья яблонь, бархатные, серебряные с исподу, зашелестели под ветром навстречу мне.

– Кто тут? – тихо сказала я в шелест яблонь, в нежный свет.

Звезды таяли. Последняя, наверное, да, самая последняя мерцала прощально над крышей баньки.

– Настя! Настя! – послышалось снизу, под окном.

И замерло все во мне. Голос-то... голос!.. не пацаний...

Я узнала сразу этот голос.

И все рухнуло во мне, полетело сначала вниз, как в пропасть, а потом – внезапно – вверх, в сияющее, ждущее солнца небо.

– Отец... Серафим! – сказала я очень тихо, чтобы не разбудить тятю – он спал в летней комнате, через тонкую дощатую стенку, услышать мог.

Я услышала тихий, радостный смех.

Он смехом – сердце мое обнимал. Так мне казалось.

Сердце, маленькая птичка...

Все громче, все неистовее и радостнее пел в ветвях яблонь и вишен хор птиц.

– Отец Серафим, – сказала я и сгребла в кулак рубаху на груди, жесткие капроновые кружева, – что это вы тут делаете, у нас в саду? Что так... рано?... В избу – не приглашаю... тятя спит еще...

Тятя вставал обычно в пять утра, будильник гремел на всю избу, значит, пяти еще не было.

– Настюша, я за тобой! – Он это тихо сказал, а мне показалось – крикнул. – Одевайся, доченька!

– Зачем? – а сама уже улыбаюсь.

Потому что знаю, вижу: куда-то он меня зовет, уведет!

– На рыбалку пойдём! На остров Телячий! На лодке поплывем! Я с собой взял удочки... и маленькую сеть, «паука»! Я так загадал: если с Настей пойду – значит, много рыбы наловим! Я перегнулась через подоконник и выглянула в окно.

И увидела его.

Лицо у него такое было, о! Как само утро! Как солнце. Борода сияла! Усы сияли! Лучились, как лучи! Как на иконе в церкви – позолоченные жестяные лучи – на окладе – ото лбов святых отходят! Глаза сияли, тоже, как в иконе два камня драгоценных! Ну что-то невероятное, я никогда не видела, чтобы человек так светился весь! И это я, я...

«Да, это ты, ты, – сказал чужой и радостный голос во мне, – это он тебе, тебе так радуется! И ведь на рыбалку приглашает не пацан тебя, что в кустах изнасилует, сомнет тебя... а батюшка, священник твой! Гляди, как радуется! И неужели ты откажешь?! Не пойдешь?! Ничего же плохого не будет, ничего...»

Я облизнула пересохшие губы. Я видела, как он смотрит на мой язык, на губы, в мои глаза. Словно глазами огненные печати кладет.

А солнца-то не было, не было еще... вставало... Небо все розовело, из розового становилось ярко-золотым, потом – жемчужно-белым, потом...

Он протянул руки к окну.

– Давай. Одевайся. Давай...

Я шагнула вглубь спаленки и судорожно, быстро, спрятавшись за створку трюмо, одевалась, как на пожар. Трусики... лифчик... платишко... кофточку накинуть, легкую, от жары... чтобы плечи не обгорели... какая, Господи, в жару рыба... шутит...

Оделась. Выглянула опять. Стоит, в штанах холщовых, до колен подвернутых, в рубахе белой, хорошо стиральной. Ну да, эта ему стирает, эта... старая ведьма, Иулиания... Рубаха на груди распахнута. Загорелый! На рыбалку, что ли, каждое утро ходит? Загорелый, плечи широченные, ну рыбак-охотник, ни за что не скажешь, что – батюшка... и веселый, все зубы в улыбке кажет, а зубы, зубы-то... как на подбор... каждый зубок – жемчуг в перловице...

Он понял, что я люблюсь им. И покраснел! Все лицо! И шея! Как школьник...

Опять руки протянул.

– Прыгай! – говорит.

Я взобралась на подоконник, и так сижу на подоконнике, на корточках, и смеюсь, и на него гляжу.

– А что я тятя-то скажу?! – и хохочу.

– Да всю правду и скажешь! – и тоже хохочет. – Скажешь: с батюшкой нашим на Волгу поехала, по рыбу!

Руки тянет. Я вытянула свои. Ладонями оперлась о его ладони. Он крепко сжал мои руки. Я оттолкнулась ногами и прыгнула вниз. И он меня поймал ловко и на миг один, на один миг прижал крепко к загорелой, горячей своей груди.

И поплыло все перед глазами! Вся земля поплыла! Все деревья, яблоньки мои, куда-то накренились, покатались... Листья меня обняли, ветер жаркий в лицо ударил, губы пересохли. И не видела я его лица! Я только чувствовала, слышала, как билось его сердце, рядом с моим.

Будто в моей груди – билось.

А я уже стояла на земле. И он уже крепко держал меня за руку, как ребенка.

– Ну что, идем?

Блеск радостных, счастливых глаз. И безумная, чистая радость моя!

– Идем?! Бежим!

Я сама сцепила крепко его руку – и мы побежали по садовой тропинке к забору, не к воротам, нет, там доска такая была у нас с тяткой, потайная, отодвинешь – и пролезть можно, если ты не слишком толстый. Протиснуться. Мы пролезли, я доску опять приделала, как было, опять схватила его за руку, мы выбежали из зарослей, из кустов ветлы да молодых дикарок-вишен, через крапиву и лопухи – на тропу, что вниз, к Волге, с косогора вела.

И тут открылся простор! Дали заречные, черно-изумрудные, розовая утренняя вода, леса дальние, хвойные, дымные, с медведями и волками, Володя Паршин говорит – и лосей там стреляли, а уж бекасов – целыми связками он с другом домой приносил... Волга, милая, бедная моя, широкая, ласковая, и вправо и влево – все ты, ты! Я на тебе родилась, на тебе выросла. Разве я когда куда от тебя уеду?!

Мы держались за руки, как дети. Кому ни рассказать – не поверят! Настька – и батюшка!

Я обернулась к нему.

– Да вы ж еще молодой какой, – так и вырвалось у меня.

Ох, обидела, наверное, что я, что все – его – стариком, что ли, считают...

– Да, – выдохнул он и крепче сжал мою руку.

И в этот момент из-за крутояра на востоке вышел, показался край красного, раскаленного шара! Шар быстро налился золотом, брызнул в нас лучами, как смехом громким! Солнце!

– Солнце! – крикнула я.

– Солнце мое, – услышала я над собой, над головой непокрытой.

– Я на голову ничего не взяла от солнца! Дура я! – крикнула я.

– Ты солнце мое, – повторил батюшка снова твердо, как впечатывал слова в меня. –

Бежим! А то лодку отвяжут!

Мы побежали по тропинке, он чуток впереди, я за ним, мы неслись, как угорелые, мимо спящих изб, мимо утренних окон, мимо коров ранних, что шли, помахивая большими головами, в стадо, мимо ранних мальчишек, что тоже на рыбалку, наверное, спешили, и пялились на нас, нас не узнавая: а и кто это там несется, как оголтелый, по тропке к реке? – мимо деревни нашей родной, рассветной, бежали-летели мы, и мне некогда спросить себя было: что с тобой, Настька, что же с тобой?.. а что же с ним, с ним-то что?!.. – некогда было и воздух вдохнуть, так радостно, будто наперегонки, бежали мы, и вот добежали до крутого спуска, и тут я ловко, как обезьянка, прыгнула вперед, опередила его, стала спускаться живенько, почти кубарем, хватаясь пальцами ног – за корни, пальцами рук – за висячие ветки диких вишен и слив, да, здесь когда-то были сады, еще до затопления, еще до того, как Волгу нашу, за сотни верст отсюда, перегородили плотиной, и вода поднялась, и в Василе тогда все нижние, у пристани, улицы выселили – а дома сломали... Эх и выли, плакали люди тогда... Семьями – ревели... Как коровы, которых резать ведут...

Прыг-прыг! – тропа скользит вниз, я прыгаю, за ветви, за корни хватаюсь... А он от меня не отстает. Ловко так спускается! Быстрый!

– Мы как в цирке! – кричу ему.

– Ну да! Два воздушных гимнаста! – кричит в ответ.

Ветки по лицу нас хлещут. И уже близко, уже пахнет водой! И блеск, солнечный блеск между ветвей! И ивы огромные, длинные листья к щекам нашим тянут! И песок уже под ногами, не глина...

– Все! Дошли!

– Однажды мне-е-е приснился... ужасный, страшный сон!.. Мой ми-и-иленький... жени-и-ился...

– Нару-у-ушил кля-а-атву он!..

Солнце все выше. Утро раннее, а уже так жарко! Плыдем по течению, к острову Телячьему. Вижу, как рубаха все темнеет, сыреет на его плечах, на груди и впалом животе. Ноги его крепко упираются в перекладину в днище лодки. Весла взмахивают, так же без брызг, но все реже.

Вот поднял весла, скрипнули уключины. Положил весла на борта. Устал.

А лодку само несет течение, несет, чуть крутит, относит вбок, к левому, луговому берегу... Мы – на фарватере... Ни лодчонки рыбацкой... Ни души... Нет, вон вдалеке, за Хмелевкой уже, ближе к Барковке – три лодки, как черные большие рыбы, не середине реки, замерли...

Кудрявые берега острова ближе. Тальник, ивы, старые ветлы в три обхвата... камыши в заводях... Светлый, светлый, почти белый песок... Отмели старым золотом просвечивают сквозь синеватую волжскую воду...

В Волге вода – синяя, а в Суре, там, где она в Волгу впадает, – серая, бурая, мутная. Это если сверху, с обрыва, глядеть. А если на берег сойти – сурская вода тоже прозрачная, только желтоватая... будто золотая. И тепленькая, теплей волжской.

– Гляди, Настя, вода-то – голубая... как камень дорогой... сапфир... в скани...

– Что такое – скань?..

– Украшение... на окладе иконы... проволока витая, серебряная, позолоченная... в нее самоцветы... мастерами всажены...

Не гребет уже... а задыхается.

И я задыхаюсь вместе с ним.

От... радости безбрежной... быть вместе с ним, плыть...

– Вот он... Телячий...

– А телята... где ж?..

– А... разбрелись... убрели в облака... во время... коровушками стали...

– А потом – черепами?.. костями?.. А у животных есть душа?..

– Даже у рыб... Настенька...

– Так что ж... мы их ловить-то... будем?.. Может... и не надо...

– А я... не всех буду ловить. Я... одну лишь рыбу поймать хочу...

И глаза, глаза сквозь меня, насквозь...

И его глаза – как драгоценный камень... Я не знаю камней названий. Дорка Преловская знает... Ла, ла... лазурит?..

– Какую?..

Он сидит далеко, на корме, но будто он близко, рядом со мной, вплотную ко мне. И я будто слышу, что он ответит мне: тебя, Настя, рыба моя золотая, рыба серебряная моя, единственная.

Так он глазами шепчет мне, и я слышу. А вслух говорит:

– Здесь, на Телячьем, есть... кроется он здесь... рыбаки старые говорили, да и весь Василь знает... живет стерляжий царь.

Смех из меня вырывается, как голуби из голубятни!

– Ха-ха! Ха-ха-хаха! – смеюсь, и опять он густо, вишнево краснеет весь. – Ха-ха-ха! Какие щас стерляжи цари! Они давно уж умерли все... выловили их всех! Еще цари выловили, ха-ха-ха... отец Серафим!..

Он схватил в крепкие руки весла, стал подгребать к песчаному берегу, к отмели, похожей на вышитый золотом свадебный марийский плат.

Я впервые назвала его за все это утро – «отец Серафим»; назвала – и чую, тоже щеки мои горят. А рот все смеется, смеется.

И – торк! – лодка носом в песок. Причалили.

Он опять уже стоит в воде по колено. И руки его, вот они, передо мной. Руки его ищут подхватить меня, понести меня.

И весь он – в воде – стоит передо мной, прекрасный такой! Красивый! Как никто из ребят! Никто из мужиков! Будто с облаков сошел. Будто он и есть – этот самый стерляжий царь, только в человека превратился.

Я вскакиваю в лодке. Лодка качается. Я чуть не падаю в воду.

– Я сама!

Хочу в воду прыгнуть. Но его руки опережают меня.

Его сильные руки подхватывают меня, и я лежу, как золотая рыба, на его руках. И вот я уже сижу на его руках, и так удобно мне, счастливо, будто я ребенок его, дочка. Тятя так меня никогда на руках не носил! И рука моя сама – обхватывает его за шею, а шея потная, горячая, мощная, как бревно, крутая такая, как у коня...

Это я прижалась щекой к его щеке? Это он щекой к моей щеке прижался?

Он идет со мной на руках по воде. Он несет на руках меня из воды – на песок.

На золотой, горячий, чистый песок.

Песок льется, если в кулак его взять и сыпать... он льется, как вода...

Я слышу его дыхание. Мое дыхание останавливается.

Я хочу, чтобы он так нес меня на руках – вечно, вечно.

«Что он делает, он же батюшка... Ему же нельзя...»

Горячая щека льнет к щеке. Я чувствую щекой его губы.

Лицо лижет огонь. Костер на берегу!

И счастье...

– Я выловил эту прекрасную рыбу для тебя, возлюбленная моя, жена моя, Магдалина.

Золотая, покрытая крупной, как монеты кесаря, блестящей на солнце чешуей, огромная рыбина корчится, бьется у босых ног моих. Любимый мой и Господь мой стоит передо мной, и лицо Его счастливо, как счастливо было лицо Адама, только что сотворенного Богом-Отцом. Ноги Его входят, погружаются в податливый песок, и песок просачивается сквозь Его загорелые пальцы, песок засыпает его стопы, подбирается к щиколоткам.

Рыба бьется. Господь глядит мне в лицо, улыбаясь.

И я улыбаюсь Ему в ответ.

Но жаль мне рыбу, ее земной скоротечной жизни! Ведь она, рыба, не воскреснет, как мы.

– Господи, счастье мое, – шепчу я жаркими губами, и Он ловит губами шепот мой, – а рыбы не воскреснут, как мы, люди, когда Ты опять придешь на землю, когда будешь судить нас всех Великим Судом Твоим?

Он молчит, любимый мой.

Ветер взвивает волосы Его; волосы липнут золотом к Его смуглой щеке, к Его улыбке, и белой молнией сверкают Его зубы на жарком морском солнце. Блики от солнечной дорожки на густо-синей, лиловой воде ударяют Ему в лицо и грудь; солнце все неистовей пляшет, танцует в пене прибоя, это море смеется, это море хохочет, обнажает белые зубы свои, песок белый и белые камни.

И отражения солнца в воде, пятна золота, золотые солнечные рыбы ходят-плывут по груди Его, по смеющемуся лицу Его, по сильным ногам Его, а бедра Его обвязаны холщовой повязкой, и так я хочу припасть губами к каждому ребру Его, к ногам, золотым на солнце ногам Его! Обвить их косами своими! Слезами счастья облить!

Он молчит. Небо молчит. Солнце смеется.

И тогда я наклоняюсь, хватаю рыбу руками и поднимаю высоко над своей головой. И руки мои в сыром песке. И с золотых, зеркальных жабер рыбы, из ее серебряного, отчаянно открытого в беззвучном крике рта течет мне на затылок соленая вода.

Так стою, с рыбою-царицей над головой.

И Он понимает все. Он указывает рукою Своей туда, в синь воды, на гладь спокойного моря. И я шагаю вперед, еще шаг, еще – и я ступаю в воду, уже я по щиколотки в воде, уже по колено в воде. Я захожу в воду по грудь, туда, где глубоко. Теперь я могу выпустить ее. Мою рыбу. Твой драгоценный, последний подарок.

– Это моя жизнь, – беззвучно шепчут мои губы, – и вот я выпускаю ее на свободу. Так же, как Ты, Господи, отпустил на свободу бессмертную душу мою.

И размахиваюсь широко; и бросаю рыбу в темно-синие, с белыми гребнями, соленые волны. И поворачиваюсь к Нему. А Он уже рядом со мной, Он уже вошел в воду и достиг меня, и Его руки на моих плечах, и Его губы – на моих губах. И Он огнем и радостью входит в душу мою. И я светом и солнцем вхожу в широко раскрытые, прозрачные, как море у берегов, светлые глаза Его.

... жаркий ветер дует в лицо.

Огонь целует мои ноги. Мои ступни.

Батюшка осторожно ставит меня голыми, исцарапанными ступнями на песок.

– Где мы?

Не голосом я говорю. Губы мои шевелятся. А голоса нет.

Он гладит меня по голове. Затылок уж солнцем напекло, и его рука гладит меня сладкой прохладой. А потом – внезапно – крепко прижимает мою голову к своему животу, к боку, к ребрам, и я чувствую щекой его ребра, я могу их щекой своей – под рубахой – пересчитать.

– Мы на острове. – И его голос сошел на нет. – Мы приплыли.

Отталкивает меня от себя. Или – себя – от меня?

Возвращается к лодке, вынимает удочки и «паука». И банку с наживкой. Вижу: в банке земля, и шевелятся, в карих грязных комках, розовые черви.

Мы стараемся не смотреть друг на друга. Но нам так хорошо! Так светло! Будто вокруг нас зажгли тысячи огней.

И правда, все в огнях! Праздник! Вода блестит, вся в солнечных поцелуях. Песок горит золотом, вспыхивает крупинками кварца! Батюшка уже наладил удилица, уже закинул одно, уж на втором рыба берет, поплавок дрожит и тонет в масляной, пылающей воде, и он дергает удочку – из рогульки, в песок воткнутой – вверх, умело подсекает, и серебряные огни рыбы, один за другим, один за другим, в его руках! Сорожка... красноперка... подлещики! О, судачка подсек... хорошенького...

Черви извиваются в его руках. Он быстро втыкает в червя крючок.

Мне внезапно жалко и рыбу, и червя, и мушку, и синюю стрекозку с тонким, как спичка, брюшком, что мечется, летает над водой, и все-все живое; на миг я вижу, как живет и умирает все – и зверь, и птица, и рыба, и человек, и самый малый червяк, что в земле живет и к дождю выползает.

«А на кладбище закопают... в могилку положат... и тебя – будут черви есть... У-у-у-у!.. не хочу».

«Хочешь не хочешь, все равно – съедят... Каждый – кого-то другого – ест, грызет на этой земле...»

– Гляньте, батюшка! – рукой показываю вдаль. – Отсюда церковь-то нашу как хорошо видно!

Поднимает голову. Глядит. Не на церковь: на меня.

Глядит на меня, как на церковь живую.

Глазами мне молится. Глазами поклоняется мне и торжествует.

– Да, – кивает, – да, отлично видно!

Солнце льет горячее масло на его волосы, на щеки и лоб.

– Да вы не на церковь смотрите. Да вы весь сегодня обгорите! И вы ничего на голову – от солнца – не взяли!

Он поворачивает наконец лицо к церкви. Она плывет вдали белым, призрачным парусом. Лодка, каменная лодка, и в ней люди, народ, с молитвой – со слезами и улыбками – переплывают время... Церковь Казанской Божией Матери, на бугре, близ слободы Хмелевки, наша сельская церковь, живая! Еще ни росписи в ней, ни купола разрисованного, еще лестница так и стоит малярная вместо Царских Врат. А батюшка – вот он! И служба – идет!

– Солнце, – весело кричит он мне, приседая перед удилищем, в песок воткнутом, – это жизнь! Это – здоровье! Мы за зиму так по солнцу изголодались! Пей его! Ешь! Не бойся его! Оно-то, видишь, как радуется тебе! Пляшет в небесах!

Я сооружаю кукан. Беру прямо с песка длинные ветки приречной ивы, оборванные ветром, обдираю листья, кукан мастерю: батюшка забыл захватить из дома садок. Эх ты, батюшка, растяпа! Рыбу-то наловленную – в воде надо держать, чтоб не протухла на такой-то жаре... Мы молчим, мы не говорим больше, мы только ловим рыбу! Я подбегаю к одному удилищу, он – к другому, клев бешеный, не успеваем снимать, и розовое, золотое лицо Солнца отражается в реке, и мы не знаем, что это – закат или рассвет, полдень или... это такая огромная, розовая рыба-Луна уже висит, парит, плывет, разевая ледяной рот, в темно-синем, индиговом, бездонном небе?!

– Как клюет, Настя...

Я беру «паука», задираю юбку, закатываю ее между ног, как штаны у батюшки, и вхожу в воду. Мимо берега идет, пытит катерок. Это из Фокина, с фокинской пристани, я этот катерок знаю. Он гонит волну, и я не успеваю отскочить – меня захлестнуло, вода по грудь! Все мокрое все равно... все платье... все...

И тут что-то со мной делается странное. Я медленно выхожу на берег. Медленно, как во сне, стягиваю платье через голову. Остаюсь в лифчике белом и в черных трусах. И руки мои сами расстегивают застежку на спине. И руки мои сами стаскивают вниз – с длинных ног – кусок тряпья, что прикрывает то, что люди считают самым стыдным, а на самом деле отсюда появляются дети, отсюда – продолжается жизнь, и значит, это – самое священное в мире.

Я, голая, снова беру «паука» и снова захожу в воду. Теперь я уже иду смело, свободно. На мне уже нет ничего, что сковывало, стесняло бы меня. Я голая, и я – река, я уже – вода; и я уже – рыба, и я – солнечный свет, и я – этот ветер, что обнимает наши ноги и плечи. Все, меня больше нет! Я такое испытываю впервые.

А батюшка – есть? Я его не вижу. Не слышу. Его нет... вовне, вне меня.

Я чувствую его – внутри себя.

«Ты внутри меня. Внутри меня. Внутри».

Я размахиваюсь и закидываю «паука». И оборачиваюсь к батюшке.

– Отец Сера...

Он стоит на берегу. Он голый, как и я.

Он делает шаг в воду.

Он уже идет в воде, раздвигая ногами ее яркую золотую толщу, навстречу мне.

А мне кажется – он идет по воде.

Он подходит по воде ко мне, а я замерла с «пауком» в крепко сжатом кулаке. Я чувствую его жаркое, прогретое солнцем тело, оно, как рыба, плывет ко мне. Он становится позади меня, за моей спиной, и прижимается ко мне в воде – к моей спине, к моим ногам – грудью, животом и ногами. И так стоит. Мы как будто слиплись, срослись. И рука его закидывается мне за шею, и обнимает мою грудь.

И так мы стоим в воде, в текучей, теплой воде, он обнимает меня сзади, и его рука осторожно берет у меня из руки «паука», разжимает мой кулак, и его рука размахивается, и погружает сеть в воду, и я вижу чудо: он вытягивает сеть, тащит ее вверх, к солнцу, а в сетке – о-о-о, я не видала такого никогда! – рыба, столько рыбы! Боже, сколько рыбы! Так не бывает! Мне это снится! Серебряные, скользкие тела, алые перья плавников, алые свечи хвостов, алые, золотые, безумные, горящие свечи... рыба бьется, рвет сеть, и большая и малая, рыба хочет уйти, рыба хочет жить, а мы ее ловим... ловим... ловим... ловим...

Я хватаю веревку «паука» обеими руками. Я пытаюсь помочь ему.

И кто-то мощный – сильнее нас! сильный! невидимый! – подсекает нас, как рыбу, ноги нам подсекает в воде, и мы падаем в воду вместе, и отпускаем «паука», полного шевелящегося, отчаянного, живого серебра, и «паук» плывет, уплывает от нас по течению, и рыба, освобожденная, веселая, плывет, уплывает, радостно бьет красными хвостами, и мы плывем тоже, плывем рядом, взмахиваем руками, бьем в воде ногами, а потом ноги нащупывают дно, и мы встаем ногами на песок, мы оборачиваемся друг к другу, мы – голые в реке – смуглые – мокрые – безумные – ноги в воде холодные, а голые спины и шеи солнце нещадно палит, – вода стекает с нас, как масло, и он ищет обнять меня, а я ищу обнять его, и мы оба – как слепые, и мы оба боимся обнять друг друга, и хотим, и просим друг друга: не торопись, пожалуйста, ну не торопись, ведь и так хорошо, ведь и так счастливо, такое счастье, такое...

– «Паук» уплыл, – хрипло говорю я.

Он чуть подается вперед. Я чувствую грудью его грудь. Животом – его живот. Чувствую выступ его плоти. Опускаю глаза. Под водой он золотой, он плывет ко мне, разрезая темную, синюю воду, как золотая рыба.

Я раздвигаю ноги. Чуть-чуть. Под водой.

Золотая рыба касается моего живота. Я раздвигаю ноги еще. Рыба нежно, медленно вплывает в меня, очень нежно, неслышно. Рыба нежно и осторожно вплывает в меня. И я не дышу.

Все замирает вокруг нас, и мы замираем.

Его руки смыкаются у меня за горячей спиной. Я свожу свои руки за его спиной. Мы стоим в воде и не дышим. Он медленно берет меня ладонями за ягодицы и медленно, в воде, невесомую, поднимает выше. Выше. Еще выше. Я обхватываю ногами его бедра. Пятки мои упираются в его крепкий, мускулистый зад. Я прилипаю мокрым лицом к его лицу. Он отодвигает лицо от меня, и тогда я бесстрашно смотрю в его лицо.

И я не вижу его лица. Оно сверкает, как солнце!

Я слепну. Я слепну от его радости.

Мы не двигаемся. Мы боимся шевельнуться. Все уже случилось.

– Все уже случилось, – шепчет он, задыхаясь, смеясь.

– Я люблю тебя, – говорю я.

Вода обтекает нас, гладит холодными и теплыми струями. Мимо нас плывут веселые рыбы. За нашими спинами по острову ходят, звеня колокольцами на шеях, небесные телята, и спит их пастух под кустом, и плывет над пастухом светлое пухлое облако, как большая небесная рыба, и шумит над спящим серебристый тополь, а может, осокорь, а может, старая ветла, в ее сгнившем стволе свили себе гнезда черные, как уголь, ласточки-береговушки, и синие, изумрудные зимородки, и белые, как сахарный снег, визгливые чайки.

Хлеб наш насущный. Мать Иулиания

Вон. Вон явился. Не запылится.

Зубешки-то сцепи, мать, да поклонися яму, поклонися батюшке своему.

Ишь, в штанищах шастат по селу! И стыдоба яво не берет! Хоть бы... хоть бы Господа устыдилси...

Думат, яво сельчане не признают в энтих портах?! Наивна-а-а-ай...

Кланяюся. До полу. Как в церкви.

Полы намыты. Блестят. Ножом половицы драила. Штоб яму, бородатому, чисто все было. Чистота вокруг – а внутрях-ти што?! Што?!

Само главно – штоб внутрях, внутрях грязюки-та не было...

В рожу яму гляжу. Смущенна-а-ай. Кабыдто кур воровал.

– Добрый вечерочек, мать, – грит мне, да не мне, а куды-то в сторону. – Поисть чево у нас имецца?

Поисть... Ишь, жрать сразу... Оголодал... Где шатался в портах залатанных?.. В рожу яму гляжу. А он морду-та вертит обратно. И щека – красна, как помидорина солена.

– Поисть? Да вон всяво наготовила, – и лапой машу на кастрюльки, на чугульки-крынки. – Шей наварила, мясных. На рынке вить седня была, в чатыря утра. Ить не пост шас, мясо-то разрешено. Жир прям янтарем плават в чугуне. Довольны будете... Молочко в крыночке, только с погребницы... Яблочно варенье прошлогodne... Мясо-от – на кусочки вам порежу, поперчу... маслицем залью топленам... А вы-то, батюшка, – грю так хитро, – игде ж были-та цельнай день?

Головушку опустил. И так мне вмиг жаль яво стало.

Как мальчонка, нашкодил и пыжится...

– Я-то? Иулиания... я-то... на рыбалке...

В руки пусты яму гляжу. В рожу алу, загорелу, как флаг бывший наш, советкай.

– На рыба-а-алке? Ишь... А рыба-от игде?

Опускает башку ище ниже. Вижу на темечке яво пробор в густых, густящих волосьях.

Ах ты, а в волосьях-та чаво только нет – и листья ивовы сухи запутались, и травинки и цветы, и песка полно, тряхани шас башкой – и песок в разны стороны полетит...

Обнаглела я. Все внутрях кипятком обдало.

– А рыба у тя, – грю, – отец Серафим, часом в башке не запутлякалася? Давай, батюшка, рыбу-та в голове поищем?

Ноздри раздуваю. Чую запах чужой. Чую... запах... у-у-у-у-у...

– Ну што ты, – грит, – што ты, што ты, матушка?.. – и ко мне кидатца. А лицо все обгорело, все таково красно, тронь пальцем – обожжесся, как чугун раскаленной! – Што сопишь, как лошадь стояла?! На рыбалке я был, да, на Волге, у Хмелевки! Да рыбу-та всю – упустил! «Паука» волной унесло! А кукан сладил – так энто... энто, ну...

– Ври, наври скорей давай...

Миня под локотки подхватывают.

Уже реву. Слезыньки так и шмыгают, рыбки, по щечкам.

– Ну, энто!.. Билися, билися рыбы – сильны, собаки – и оторвали! И – к шутам – уплыли!.. в Волгу широку... жить – хотят...

Смеется, паразит. Ах, зубы белозубы. И пахнет от няво на всю избу – а чем вонят-та?! Да – радостью за версту несет! Счастьем!

Бабий дух... девкин... Сладкий такой, то ль духи такие, то ль сама така девка духовита...

Ах ты, дрянь... Греховодник... Да ты миня... оммануть...

Отталкиваю яво. Руками в грудь яму упираюся – и толкаю, толкаю от сибя прочь.

– Уйдитя!.. Не могу глядеть...

– Да што ж не можешь-та, Иулианья, а?!..

Не хохочет – грохочет. Вот, наконец, глаза в глаза мои – зырит.

А-а-а-а-о-о-о... В глазах-ти – Волга синя, безбрежна... свет кромешнай...

– Вретья вы все!.. Не рыбалили вы!..

Обнимат миня за спину. За пузо лапат. И не могу я яво руки стряхнуть, не могу по ним – ладонью – вдарить.

– Да вот те святой крест, матушка! – Встает передо мной, как солдат на присяге, руку ко лбу взбрасывает. И крестица, да, воистину, широко так, с размахом, быдто – траву косит, крестица. В плечины свои, в живот под грязной рубахой щепоть, как нож в масло, втыкат. – Неужто по мне не видать, што рыбалил я?

– Рыба-а-а-алил!

С девкой, шепчу я себе сама под нос, с девкой... штоб он не слышал, тихохонько шепчу...

– Давай, Иулианья, не устраивай мне тут... – Посуровел. – Накрывай лучче, мать, на стол! Я и правда проголодалси! Быка бы съел!

Метнулась я к печке. Чугунок со щами вытащила. На стол – бух! Все мечу: и селедку нарезанну, и мясо тесаком кромсаю, штоб поскорей, и крынку с молоком тащу, а он к крынке лапищи тянет, нос туда окунат, длинный нос свой, эх, и правда, как раньше я не примечала-та, он ить, длинноносай, на икону похож!.. на Николушку Мирликейского!.. угодника дивного!.. или нет, нет, боле на Ивана Богослова, с такими ж длинными волосьями по плечам, с глазищами длинными, светлыми... али темными?.. а пес яво знат, они у няво то светлы, как вода, то темны, как уголь в печи... хамлявон...

Швырк – я яво по затылку. Легонечко.

– Што нос в молоко-та суешь?!

– Млеко, – мурлычет, кот, – млеко, м-м-м-м!..

– Мле-ко... Руки-та помоете, посля рыбалки?..

Как робенок, послушно к умывальнику поплелся.

– Слей мне, матушка! – просит.

Я ковш взяла, воды зачерпнула, он наклонился и рубаху через башку кудлату стянул. И я чуть не ахнула. Вся спина в песке... В царапинах... На камнях валялися, што ль?.. Али скровзь кусты колючи пробирались?.. А плечи-то, плечи... все спалены! Пламенем горят!

Лью воду холодну. Лью на затылок, на шею, на грязны руки. И верно, вижу, лапы-то все в чешуе. Значит, не врал. Значит – рыбалил. Вода льецца, он трет шею ладонями, фыркает, башкой трясет, я вся в брызгах, терплю, а он кричит:

– Лей! Лей ищо!

Ищо зачерпываю. Выливаю из ковша – зло – на спину, на загривок яму – разом. Водопад! Он вопит, восторг выражат.

– А-а-а-а-ах!.. спаси Бог, уважила...

Полотенце протягиваю. Спину промокаю яму... и вправду как дитенку. Вода, бормочу скрозь зубы себе, вода, она святая, она все... очистит...

Рожу вытираю. Обгорелу свою. От зубов яво – белый свет – на сторело яво лицо.

Полотенце в угол бросат. На лавку.

К столу шагат. И я – шагаю. За ним. Как овца – за бараном.

– Молитву вы прочтеть али я прочту?

Встает за столом. Длиннай. Жердь...

И сердце мое из груди – прыг! – наружу...

И голос страшной, нутряной, во мне: «Это тебе и сынок, это тебе и муженек, это брат и сват тебе, это и отец родный тебе, он тебе все, все, слышь, баба дура, все, все он – тебе...»

И я за столом встаю, в белом, холщовом платьи своим, руки на грудях складаю, а он-то, он, поп мой греховодник, поднимат лапищу свою вперед, благословлят еду, на столе положену, и глаголит громко, ажник оглушительно:

– Очи всех на Тя, Господи, уповают! И Ты даеши им пищу во благовремени, отверзаеши Ты щедру руку Твою! И исполняеши всяко животнo благоволения...

Я ручонки в груди свои жестки аж до кости вмяла. «Всяко животнo благоволения...» Животнo... Зверьки мои, скотинка моя... попугайчик мой красненькай...

И как вить почуял, стервец, што о нем я подумала-то! Из комнаты – крякнул:

– Яш-ша хар-роший! Яш-ша хар-роший! Хар-рошая птич-ч-чка!

– Давай-ко исть, матушка, – тихо, устало как-то сказал отец мой и медленно, тяжело опустился на стул, и старенькой-та стул скрипнул под им жалобно, быдто попросил: почини миня, плотниче, я тебе ищо послужу.

А дымок над щами-та моими так и вьецца, так и пышет...

– Хлеб наш насущный даждь нам днесь, – прошамкали сами грешны мои губешки. – Ешь, батюшка мой. Ешь, пока не посинешь!

Двунадесятый праздник. Благовещение Пресвятой Богородицы

Я любил весну. Я всегда любил весну.

Я любил первый запах весны, когда, еще по-зимнему плотный, снег начинал подаваться под копытами солнечных лучей, под мощным натиском теплого ветра. Тогда я волновался беспричинно, и так было всегда: еще в детстве, еще тогда, когда я в Верочку влюбился; тогда, когда в марте гулял между мартовских сугробов и первых звенящих ручьев с дочкой, с Анночкой.

Нынче праздник, а я что-то об Анночке вспомнил.

Одеваясь на службу, я молился о том, чтобы Богородица забрала от меня мысли об Анночке в великий, священный Ее Праздник. Но никуда мысли не девались. Они обхватывали голову обручем. Они сжигали, хохоча надо мной, сердце мое, как полено, в своей жестокой печи.

Иулиания не спрашивала меня ни о чем. Она видела – я темен лицом. Я сам на себя, перед выходом на службу, глянул в зеркало: мрачен, да. Паству испугаю.

Стиснул зубы. Помолился: о, избавь от скорби, Благодатная.

И, закрывая дверь, краем глаза увидел, как Иулиания быстро, скрюченными, как клюв ее красного попугая Яшки, почернелыми от работы пальцами перекрестила на дорогу меня.

И золотой бубен Солнца ударил надо мной!

И закружили меня в диком танце ручьи!

И март ударил мне в лицо, в щеки, в ноздри всей белизной и синевой своей, всеми дымами крыш своих, всей веселой смертью последних снегов своих.

И шел я на службу и шептал:

– Богородица, Архангел сегодня благовестил Тебя, Пречистая, он благословил Тебя на счастье и на муку, на скорбь великую и на праздник вечный, поднебесный! Ты испытала, каково это, когда умирает дитя Твое. Я, я тоже испытал это, Заступница! И мой ребенок умер на глазах моих! И я закрывал дитя своему глаза! Но в этот день, когда Тебе пришло известие о любви к Тебе Господа Твоего, прошу, избавь меня от слез по доченьке моей! Я ведь плачу по ней каждый день, даже если слез на глазах нет; плачу внутри. Но сегодня! Сегодня, в праздник Твой! Избавь! Помогите...

Я опустил глаза. Ребенок шел рядом со мной. Девочка.

Я взял ее за руку и крепко сжал ее руку.

– Анночка, – сказал я тихо, – Анночка, сегодня праздник!

– Да, папичка! – важно, весело сказала моя девочка. Она вцепилась мне в руку, как рак клешней, крепко и больно. – Я знаю! Сегодня Ангел плишел с облаков и объявил Боголодице, что Она Лебеночка лодит!

«Господи, Господи, продли этот сон, этот бред», – шептали губы.

А рука все сильнее сжимала дочкину руку.

И, когда мы дошли до моста через речку Хмелевку, Анночка выпустила мою руку и крикнула мне:

– Папа! Пока!

Я следил, как она взмахнула ручонками – и полетела по воздуху, над речкой, по ее течению, туда, все дальше, в дымную мартовскую синеву, где расплавленная золотая сталь Хмелевки вливалась в густую, тяжелую, щедрую синеву необъятной Волги. Я дождался, пока доченька сольется с Солнцем и синью, и медленно перекрестился.

А в храме я опять был один – псаломщик мой бессменный, Володя Паршин, укатил в Юрино, показывать гостям из Нижнего замок графов Шереметьевых.

Замок-то снаружи уделали, причепурили, покрасили, как старую рожу – яркой помадой, подлатали от стыда... а внутри – разруха из разрух. Голые, скелетные стены. Осыпавшиеся потолки. Ребра штукатурки... Расхитили, раскурочили. Сожгли. Разграбили... Давно это было? Вчера...

И Непорочное Зачатие тоже было – вчера.

И пел я стихиру, стоя среди множества зажженных свечей, и старался, чтобы не дрожал мой голос:

– В шестый месяц послан бысть архангел к Деве Чистой, и радоватися Ей прирек, благовести из Нея Избавителю пройти. Темже приимши целование, зачат Тя Превечнаго Бога, несказанно благоволившаго вочеловечитися, во спасение душ наших!

И пели старухи мои вместе со мной:

– Помощник и Покровитель бысть мне во спасение!..

И Анночка повторяла надо мной, высоко, под куполом, где намалевал я Христа Бога, тянущего из реки сеть, полную рыбы: «Во спасение, папа, ты слышишь?.. во спасение, во спасение...»

И старуха Вера Смирнова, пасечница, громко, на весь храм прошептала мне:

– Батюшка, не плачьте! Я вам... меду банку принесла!.. Липового...

И я, с закрытыми глазами, тихо ответил Вере Смирновой:

– Я уже не плачу.

И девочки мои на клиросе запели тоненько и чисто, звончей ручья.

А Насти сегодня на клиросе не было. Давно уж она в церковь петь не ходила.

Глава четвертая

Алтарная стена. Тайная Вечеря

Они зажгли все свечи. И керосиновую лампу зажгли.

Они испекли плоские, как лопаты, хлебы в ширококозевной русской печи.

Черная пасть печи безропотно отдавала им хлеб, и они на руки принимали его, как повитухи принимают дитя из кровавой, болящей утробы.

Иван жарил рыбу на круглой черной сковороде.

Жарил линей золотых; карасей малых, смешных, и жалко Ивану их было.

Жарил лещей – а раньше лещ мусорной рыбой считался, а теперь и его в деревнях лакомством чтут.

Жарил стерлядь молодую – в сети попалась одна. Драгоценная рыба.

Мало нынче в реке осетров да стерлядок.

Мало жизни осталось.

И Он вошел с мороза в избу. Отряхнул хитон Свой от снега.

– Снег прожигал Ты босыми ступнями! – Петр воскликнул.

Борода седая Петра светилась во тьме избы, как руно серебряное, овечье.

Петр запускал руки в бороду и смеялся от радости – от радости, что видит и слышит Его.

– Смерти-то, значит, нет, – задыхаясь, Иван произнес.

И ножом на сковороде стерлядку перевернул, чтоб прожарилась вся.

Сладкий дух жареной рыбы над столом носился.

Над дощатым столом, укрытом простой, кое-где дырявой холстиной.

Андрей блестел дикими, как у зверя, глазами; черная борода все его лицо, как озерная ряска, затянула.

Он раздувал ноздри. Он нюхал воздух без смерти.

Он не видел различья: так же сладко пахло жареной рыбой; так же кисло, горячо пахло свежим, только из печи, хлебом; так же пахло керосином пролитым; так же пахло ягодой спиртовой, забродившей – из громадной, на краю стола, винной бутылки.

Это Петр приказал достать из подпола четверть. Во славу Ужина Святого.

Он молчал. И молчали все. Горело красным подземным камнем, прозрачным, вино в бутылки.

Он прошлепал босыми ногами – на половицах отпечатались мокрые следы – и сел за стол, и Иван ухватил сковороду рогатым ухватом и поставил, с жареной стерлядкой, на стол, на чугунную, с узором, подставку.

А в блюде деревянном уж линии и караси медными, масляными боками сверкали.

Все сверкало изнутри: огонь за стеклом лампы, мертвая сладкая рыба, наливка в бутылки.

Лица светились. Глаза горели. Все было – жар и уголь. Сапфирами мерцали в печи голо-вешки.

Иван ударил себя по лбу: «Эх, забыл я!..» – и выставил на стол кринку с молоком ледяным, только из погреба.

Он сел во главе стола. И все медленно, важно расселись.

Рядом с ним сели Андрей и Иван. Щеки Ивана алели от восторга. Он любил Его в этот миг больше жизни.

А Андрей блестел звериной глазами-углями из сплошной бороды болотной. И зубами блестел, усмехаясь. И все воздух жадно нюхал, нюхал.

Так сидели молча, руки на стол положив, и складки рубах вниз лились, и до полу, до сосновых, гладко струганных половиц падали тяжкие складки хитонов.

Ждали.

И сказал Иисус:

– Трапеза наша да будет благословенна!

Горячий хлеб в руки взял, обжегся, с улыбкой на хлеб да на пальцы подул обожженные.

Все молчали. Молчал Иуда. Сжимал в кармане штопаных портов кошелек кожаный, из кожи козла старого, пахучий-вонючий. На рынке купил по дешевке. Хорошо, не дырявый.

И сказал Иисус:

– Примите! Ядите! Сие есть Тело Мое! – и хлеб в сильных пальцах легко преломил. – Ныне за вас, любимых, ломимое... во оставление грехов...

Молча взял у Него из рук кусок чернобородый Андрей.

Молча взял кусок Петр, слепо мотнув метельной бородой.

Молча взяли куски свои из рук у Него Фома и Варфоломей. Филипп и Яков.

И другие тоже молча, склонив бычьи лбы, взяли.

И кудлатые, лысые, курчавые, косматые, голые головы их наклонились над хлебом.

И ноздри дух хлебный вдохнули.

Кровь ли вдохнули?! Вопли войны?! Смердный дух тысяч трупов?!

...запах молочный, ягодный Того, Кто только на свет народился...

И сказал Иисус:

– Пейте из Нея вси! – и взял обеими руками бутылъ с домашним вином. – Сие есть Кровь Моя, еже за вы проливаемая... во оставление грехов...

Все молча подвинули граненые стаканы. Он разлил в них вино.

И Иван следил, как булькала, перевитая, густо-алая струя; и горели его глаза.

Он все запоминал, Иван. Он дышал восторженно, часто.

Все молча подняли стаканы, сдвинули. Стекланный стук в избе раздался.

Один Иуда, однако, стакан свой не поднял.

Так и сидел, гомоник свой козлиный в кармане сжимая в кулаке потном.

И сказал Иисус:

– Что ж не едите? Не пьете?

И выпили мужики! И теплым хлебом, душистым, небесную сладость зажевали!

И смеялся Иисус, на первое Причастие глядя.

А потом встал из-за стола и сказал:

– Ухожу я от вас! И – остаюсь с вами!

Иван растарачил глаза. Он – не понял!

– Как это уходишь Ты, Господи?!

Крик мальчика, резкий, горький, повис в избе, как крик одинокой цапли на болоте, в камышовых плавнях.

– Ты ж жареной рыбы еще не поел!..

И сказал Иисус, медленно к двери пятясь, обводя всех горящими, как головешки в печи, живыми глазами:

– Ешьте рыбу. Лини сладки. Караси сладки. Стерлядь еще слаще. Ешьте хлеб испеченный. Пейте вино во славу жизни Моей. Несите слово Мое. А Я во снег ухожу. Во снег и метель.

Ударил в дверь кулаком. Дверь распахнулась.

Метель ворвалась в проем, снегом мигом засыпало половицы и край стола с керосиновой лампой.

Заметался огонь. Закрыв тяжелые веки Иуда.

– Уходишь?.. – пробормотал. – А я... поверил Тебе!.. Как же я... просчитался...

Фома украдкой кусок стерлядки из сковородки стащил и в рот сунул.

Петр плакал. Слезы перлом речным путались в сивой, седой бороде.

И видели все мужики в открытую дверь, как звезды из черноты летели и гасли, как шел Он по зимним полям, без дороги, ступнями по снежному свету, и холщовый хитон Его ветер вил у Него за спиной, и метель била Ему в лицо, и улыбки Его они не видали.

Улыбался Он. Улыбался жизни. Улыбался смерти. Памяти – улыбался.

И крепко сжал Иван в кулаке граненый стакан, сжал до боли, раздавит вот-вот, и крошево стекла в ладонь вопьется, крошево льда, крошево снега, обожжет, окровавит, обрежет. И к губам стакан поднес. И вино Господне одним глотком – выпил.

– Эх, и правда, я какой счастливый стал, – прошептал тихо, – какой я счастливый...

Слезы горячим воском катились по румяным щекам.

Слезы друзьями сладкого меда на огарках свечных настывали.

Смерть дочери. Серафим

Анночка, дочка моя, умерла на Страстную пятницу.

Это я запомнил навсегда, что – на Страстной неделе, и именно в Страстную пятницу.

Это я уже потом, когда стал иереем недостойным, грешным, вспомнил; все говорили вокруг, кто верующий был, да и неверующие тоже – Страстная пятница, Страстная пятница; а что это такое, пятница Страстная, я тогда, кажется, и совсем не знал.

Анночка была уже маленькая девочка. Ей было уже пять годочков. И она уже умела читать, и говорила уже очень хорошо, бойко, сказки пересказывала, только букву «р» еще не выговаривала, и очень мило, так хорошо и смешно у нее это получалось: «класка», «кливо», «ты моя ладость». Радость моя! Милая, родная радость моя! Радость моя, ладость моя... Лад мой и чистота моя; музыка моя и молитва моя. Я и сейчас за тебя молюсь, милая, светлая девочка моя, белый Ангел мой. И всегда молиться буду.

Я душу твою чистую без молитвы – не оставлю.

Я помню, как Анна умирала.

Я уже видел смерть. Я уже хоронил своих друзей – кто попал в катастрофу, в крушение поезда, кто захворал с вечера, вроде простая простуда, а утром – не проснулся; кто выпил на свадьбе у друга хорошего, отменного, как в глаза нагло нахвалили, самогона, и вкусного вроде, и многие гости пили! – а вот он один – с того самогона – прямиком на тот свет.

Где тот свет, спрашивал я себя, живой и никакой клеткой тела не верящий в собственную, в свою смерть, где же тот свет, ну-ка, а? Где он? А нет его. Умирает человек – складывают ему руки на груди – кладут с собой в гроб иконку – плачут, поют, пьют водку на поминках – и... и...

И забывают через время, добавлял я безжалостно, жестко, сам с собою говоря про себя об этом. За-бы-ва-ют.

Я видел, что мать старится, и догадывался, что не вечна она, как все мы; я знал, что любой человек, как люди говорили, под Богом ходит; а что такое ходить под Богом, спрашивал я себя, вон же сколько не верующих в Бога землю топчет! – и все они, все, да, все тоже ходят под Богом.

Это значит – под неизвестной, внезапной своею смертью.

Она может настичь тебя где хочешь: на пляже или в болоте, в самолете или в ресторане, в постели с любимой женщиной или в праздничном застолье, среди тостов и цветов. Значит, Она – это и есть Бог?

Что-то не так текло в моих раздумьях. Я и сам видел.

Я знал нутром, что не надо бояться; и я боялся. Я чувствовал, что «под Богом ходить» – еще что-то означает, кроме смерти неожиданной, но что?

Я видел страдания матери; я видел житейскую колготню сестер; я устраивался работать на разные работы – я поработал и художником в кинотеатре, малевал афиши фильмов, художественных и документальных, коряво малевал, да наплевать, – и дворником, на своей улице, вкалывал, участок был рядом с домом, близкий, родной, и это было удобнее всего; и барменом в маленьком, глупом кафе, где меню каждый день писали мелом на черной, вроде как школьной доске, а меня заставляли надевать белую рубашку и к ней – галстук-бабочку, и я в этой рубашке белоснежной, чистой, как порожистый горный ручей – сам стирал, настирывал в тазу, в порошке вонючем, едучем – «Лотос»! – в этой черной бабочке выглядел – это в зеркалах я сам видел – ну просто как артист настоящий, сейчас рот открою – и монолог произнесу... или юморное что-нибудь отколю, публику потешу.

А меня посетители любили. И у стойки моей торчали, со мной беседовали, не просто попить-поесть равнодушно заказывали; и к столикам подзывали, и я подходил, всегда чистенький, в белой ангельской рубашке своей и в смоляной джентльменской сатанинской бабочке, услужливый, вежливый, улыбался широко, и улыбка не приклеенной-нарочной была, а теплой, моей родной, и – полотенчишко чистое свободно висело через руку мою, на локте: чего изволите, граждане? Мне одна девушка так и сказала: вы, говорит, какой-то дореволюционный. А как вас зовут?

Она познакомиться хотела. Я честно сказал, как меня зовут. Я принес девушке крепкий кофе в маленькой чашечке – она попросила двойной. И я так нежно улыбался ей, будто бы она была моей любимой. Я представлял на ее месте Верочку: как мы тихо сидим в кафе, тихо потягиваем кофе из крохотных чашечек. Улыбаемся друг другу. Иногда целуемся. Как в красивом заграничном фильме.

Девушка мне свой телефон оставила.

И еще многие оставляли, и девушки, и женщины, наверное, смазлив я был в те годы, привлекателен на лицо, нравился им.

И они думали: а вдруг...

А я стоял рядом со столиком с полотенцем через локоть, улыбался и думал: директор сказал, завтра кафе закрывают, потому дом на слом, надо быстро искать другую работу.

И каменщиком на стройке я подвизался – мастерок у меня так и летал в руках, я ловко научился с ним управляться; кирпичи-то я клал, а краем глаза наблюдал за художниками, что взялись в том доме расписывать стены и потолок – я еще тогда не знал, что это дело называется фреска, я пялился во все глаза, интересно мне было, как это ребята сначала углем царапают на белых, заштукатуренных стенах, и жаль мне было свежей, снежной и чистой белизны, а потом – из-под кистей у них – на стену – будто огонь брызжет, будто синие ручьи текут, будто алая кровь льется, будто цветы они из-за пазухи об стену бросают, огромные, тяжелые букеты, разбивают букеты об стену, розы-лилии, васильки-ромашки, море цветов.

Умело они с кистями и красками обращались, а я – смотрел.

И – запоминал.

Для чего? Для чего-то? Что придет потом?

После работы своей тяжелой и долгой я приходил домой, как в рай. Мылся, благо душ дома был. Кряхтел и стонал от удовольствия под горячей водяной струей. Газовый аппарат гудел дико, опасно. Мать уже спала, на том диване, на котором спал покойный отец. Ее шея задиралась, голова сползала с подушки, она храпела громко и раскатисто, как мужик. В комнате стоял стойкий запах перегара. Я уже не знал, кто тут пил спиртное: мать, сестры, Верочка или Верочкины друзья. Может быть, все вместе.

Верочки чаще всего дома не было. Чаще всего она приходила домой под утро. Я слышал, как она стучит сбрасываемой обувью. Она стряхивала сапоги или ботинки или туфли с ног, и они летели – хлесь! дрысь! – в разные стороны и шлепались об пол и стены прихожей.

Анночка, если и спала в кроватке своей, просыпалась обязательно, тянула ко мне тонкие, лилейные ручонки. Пальцы – пять ромашковых лепестков. Не оборви их, Господи!

Я уже молился, сам не зная, что такое молитва.

– Анна, солнышко мое, деточка!.. ну что ты, ну что ты... Ты – спи...

– Папичка, я покушать хочу!

Ну вот, среди ночи-то...

– Что бы ты поела, доченька?

Тяжелый вопрос. Часы громко бьют полночь.

– Я бы? О! Папичка! Плиготовь мне халчо.

– Что, дочушка? Харчо?..

Впору оторопеть было. Я чувствовал себя неудачником-барменом, которого злобный хозяин вот сейчас рассчитает.

– Но у нас же нет...

Я не мог перечислить ей, чего у нас нет: мяса? Риса? Перца? Лука?

Я помнил – в холодильнике лежит пачка творога, он, наверное, уже скис, несчастный, стоит кастрюля с утренней овсяной кашей, ее еще можно разогреть с молоком, лежит засохший кус сыра... и в морозилке, кажется, пельмени валялись. А может, их уже и нет?

– Но мама же позавчела валила! Пальчики оближешь! Как вку-у-усно!

Верочка, если могла, стряпала хорошо. Поварихой она вполне могла бы...

– Доченька, харчо – это уже очень поздно. Сейчас ночь. Давай я тебе... – Сияющая, ослепительная улыбка прорезала мое беспомощное лицо. – Кашку-трюляляшку сделаю?!

– Да! Да! – вопила Анночка и подпрыгивала в кроватке, сотрясая пружины. Нательный крестик, медная слезка, прыгал вместе с ней на ее груди. Ее бабушка, моя мать, ухитрилась ее окрестить еще во младенчестве, спасибо ей. – Да! Тлюляляшку! Хочу-хочу!

Я бросался на кухню и готовил то, что сам на ходу придумал. Кашка-трюляляшка состояла из размазанной с молоком утренней овсянки, богато и замысловато украшенной вареньем – ягодами засахаренной смородины, красными мазками вишни без косточек, сваренными в сахаре кусочками лимонной цедры. Господи, и сестрам спасибо, что летом варений разных наварили. Все ребенку веселье!

Я расписывал кашу, как художники – стену. Я делал свою первую в жизни фреску. Я торжественно нес с кухни тарелку с кашей в комнату, боясь в темном коридоре оступиться и растянуться на полу с этой драгоценностью. Анночка встречала меня в кроватке веселым визгом.

– Уля-а-а-а-а!

– Тихе, дочушка, тс-с-с-с, бабушку разбудишь...

Сестры мои жили уже, каждая, с мужьями, и иной раз заявлялись в отчий дом – плакать и рыдать о том, как их мужья пьют, как под пьяную руку их бьют, как бездарна и никчемна жизнь, как они устали и как все плохо. Вырыдавшись и отдохнув, попив чаю и водки, поевши варенья и сохлого, вместо печенья, белого хлеба, мои сестры возвращались в свои семьи, чтобы тянуть лямку жизни дальше.

Вдаль по реке... вдоль по реке...

Я ставил кашу на стол, подхватывал Анночку под мышки и вынимал из кроватки. Она сучила ножками и крепко обнимала меня за шею.

– Давай-давай!.. вкуснятинка...

Я держал ее на руках, на коленях своих, и кормил с ложки. Она глотала, как жадный галчонок. Я знал, что это против правил – дочь уже давно ела сама. Но ночь, с когистыми мышами и багряно-золотыми иконами по углам, и радость сказочного блюда, и сокровище на коленях, и сладкая живая тяжесть, и поздний час, и снова бьют часы: бом-м-м, это час ночи, я что, целый час с кашей провозился? Анночка сама выхватывала у меня ложку. Старинную

ложку, с вензелями. Этой ложкой ел мой отец. Он привез ее из Польши за голенищем детского сапожка, когда его, вместе с детдомом, во время войны из Тереспоя переправляли в Горьковскую область.

Ложка сохранилась. Сбереглась. Утварь мертвая, твердая, железная.

А человечек?

Где мой отец сейчас?

Где бабка моя?

Матерь где моя...

Где моя дочь сейчас, Господи?!

Прости, прости, Боже мой, Господи мой, прости и помилуй мя, грешного...

– Я сама!

– Сама, конечно, сама...

Я давал ей дедову ложку. Дочь зачерпывала военной ложкой сладкую кашу. Дочь ела сама, и каша валилась из ложки ей на грудь, на куриную ребячью грудку, на потертую фланель ночной рубашонки, и я вытирал скользкие, желто-алые разводы полотенцем, и ротик ей вытирал, и хохотал, и смеялась она вместе со мной, нежная радость моя.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.